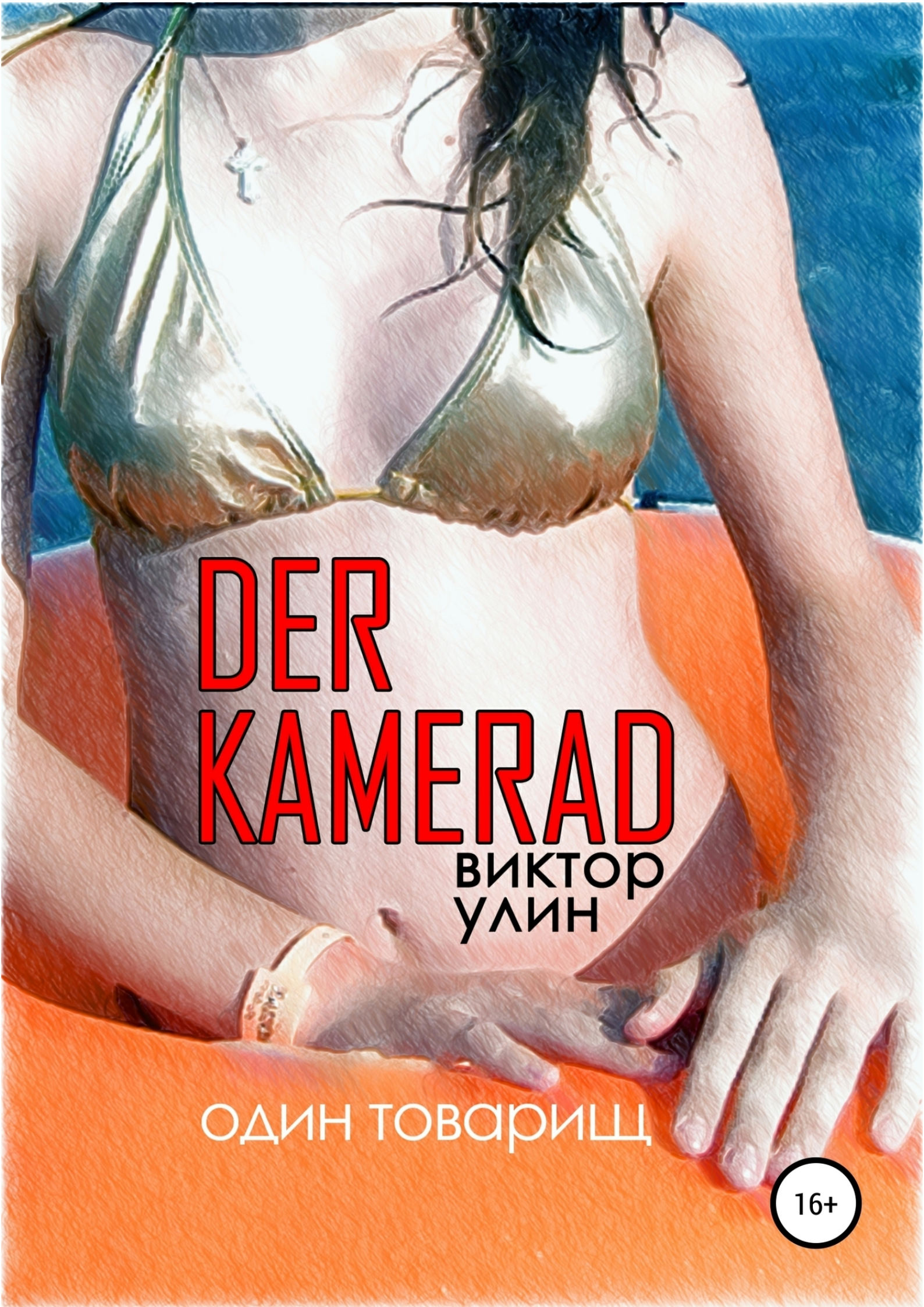
DER
KAMERAD
ВИКТОР
УЛИН
ОДИН ТОВАРИЩ
16+

Виктор Улин

Der Kamerad

«ЛитРес: Самиздат»

2008

Улин В.

Der Kamerad / В. Улин — «ЛитРес: Самиздат», 2008

Название книги не случайно вызывает ассоциацию с «Drei Kameraden». Роман дает инвертированное отражение Ремарка в мутном зеркале 21-го века, текст использует прямые заимствования. Герой, человек без будущего, страдающий от космического одиночества среди людей, проводит последний отпуск перед своей социальной гибелью. В Турции он встречает внезапную любовь, иррациональную и не имеющую перспектив, но в финале приходит к выводам общечеловеческого масштаба.© Виктор Улин 2019 г. – дизайн обложки.

© Улин В., 2008
© ЛитРес: Самиздат, 2008

Содержание

I 6
II 9
III 15
IV 21
V 40
Конец ознакомительного фрагмента. 48

Моему камраду Эдуарду Сырчину,
понимающему меня без слов.

1. «Мы попали в артиллерийскую вилку:
самый страшный удар времени
пришелся именно по нам.»
(Виктор Улин. «Хрустальная сосна»)

2. «Конечно, сорок восемь лет
еще не ахти какая старость.»
(Энн Ветемаа. «Усталость»)

3. « – Во что же ты веришь?
– В то, что с каждым днем
становится хуже.»
(Эрих Мария Ремарк. «Тени в раю»)

4. «Знай же, что в последние дни
наступят времена тяжкие.»
(2 Тим. 3:1)

I

Небо было желтым, как латунь, и еще не закопчено дымом.

Впрочем, особого дыма тут не наблюдалось; вероятно бензин в Турции был не таким плохим, как в России.

Да и автомобили находились в лучшем состоянии. Впрочем, машинам здесь жилось не пример легче: они не имели необходимости переживать зиму, их не мучили солью на дорогах, их даже не гноили бесконечные дожди.

Наверное, то же самое можно было сказать о людях.

И все-таки небо над городом…

Оно, конечно, не походило на латунь.

Да и вообще не было желтым.

* * *

Желтым ему предстояло стать вечером. Когда я, еще совершенно трезвый после дневного сна и вечернего купания, буду подниматься на ужин.

Приду в ресторан, как всегда, к восемнадцати тридцати – согласно большому красивому расписанию, висящему около выхода из ресепшн. Но турки, как обычно, в график не уложатся.

Что-то у них застопорится и к моменту открытия они еще будут спешно раскладывать приборы по столам и возиться с кондиционером, который всегда включался ненадолго, лишь в начале ужина. А ближе к концу атмосфера в зале разогревалась до уровня парной бани, и почти все посетители, прихватив тарелки с недоеденным, старались выбраться наружу – на террасу в торце фасада, едва там возникали свободные места.

Но я к концу бывал уже пьян. Нет, конечно, по-настоящему пьяным я не бывал тут практически никогда – просто во мне перед ужином плескались уже два или даже три двухсотграммовых стакана бренди, внутренний градус сильно поднимался, и я становился невосприимчивым к внешней температуре.

Так вот, когда вечером, ровно в восемнадцать часов тридцать минут восточноевропейского времени… То есть в двадцать один тридцать моего города, оставшегося отсюда за две… нет, за три, если вовсе не за четыре тысячи километров… города который я изо всех сил старался вычеркнуть из мыслей на эти четырнадцать дней…

Ровно в восемнадцать часов тридцать минут восточноевропейского времени я поднимусь к ресторану. Пренебрегая лифтом, одолею пять этажей по опасной винтовой лестнице со скользкими мраморными ступенями, среди которых не находилось двух равных ни по высоте, ни по ширине. Поднимусь, шагая свободной походкой, с прямой спиной и устремленным вперед нагловатым взглядом… Напевая тихонько какой-нибудь немецкий марш… Именно напевая вполголоса, насвистывать я никогда не умел…

Поднимусь – совершенно трезвый, прямой и подтянутый, в черных шортах и черной, как ночь, футболке – на веранду шестого этажа. Шестого по нашим меркам, поскольку у турок, согласно западной традиции, первый считался «*нулевым*». Взгляну безразлично на голодных соотечественников, сидящих за круглым столом под ротондой в римском стиле, увенчанной довольно красивым куполом с летящей Нике на вершине и грудастыми, как Брунгильда, кариатидами, поддерживающими карниз.

Небрежно, но приветливо скажу в воздух:

– Abend!..

Отвечу на поклон турка, который раскладывает салфетки с вилками и приветливо помашу ему рукой.

И после этого подойду к западному краю балюстрады.

К тому, что смотрит на улицу Ататюрка, вьющуюся вдоль берега, тающую между горами материка и гористым островом, где находятся очень дорогие виллы между развалинами турецкой крепости. Увижу солнце, которое падает в эту расселину ярко-красным ломтем, отрезанным полосой туч, всегда висящих над морем у горизонта. Правда, не здесь – где-нибудь над Родосом или еще дальше.

И вот тогда, в этот короткий момент: за время, которое требуется мне на подъем со своего «*первого*», то есть второго, этажа на крышу, солнце успевает погрузиться во мрак ровно наполовину – в этот момент небо, меняющееся столь же быстро, будет именно желтым, как латунь.

Сияющим, блестящим, словно отполированным пастой ГОИ – зеленой окисью хрома, применяемой в точном приборостроении.

И блеском своим напомнит латунь авиационной детали.

* * *

А сейчас небо было обычным, как и положено небу Средиземноморского побережья. Голубым, чуть более светлым, чем море, затянутым по краям полупрозрачными облаками. И полным утренней дымки, которая обволакивает окружающие предметы: горы, по которым карабкался курортный город, и остров турецкой крепости, казавшийся на первый взгляд очень близким. Хотя я еще в первый день визуально определил, что даже по прямой до него минимум двадцать километров.

И солнце, поднявшееся за моей спиной, еще не жгло, а ласкало нежными, как девичьи пальцы, лучами.

Я сверился с часами. До восьми оставалось пятнадцать минут, я пришел на пляж раньше обычного.

Да, я всегда приходил сюда рано, поскольку являлся на завтрак так же по-военному, как на обед и на ужин. Сегодня турки не мешкали с открытием и к морю я спустился ни свет, ни заря.

Я подкрепился в первых рядах, причем достаточно плотно. Выпил пять… нет, шесть чашек черного кофе, который тут оказался не очень плохим – точнее, очень хорошим, в кофе турки знали толк. И сжевал три колечка с кунжутом. Для утра этого хватало, особенно с учетом того, что после завтрака я сразу шел купаться.

Пляж был безлюден, лежаки стояли в линейку, еще не растащенные по сторонам.

Я сидел на прохладном пластике, пока без матраса, и бездумно смотрел в даль. Ближе к горизонту море казалось ровным и гладким, словно застывшее стекло. Хотя у берега – как всегда в этих местах – шумел довольно высокий накат, время от времени бросая с гребней брызги белой пены.

–…Morgen!

Я поднял голову.

Надо мной стоял турок в белой футболке, с пластмассовой метлой, мешком для мусора и еще каким-то приспособлением – пляжный уборщик Шариф, который по утрам устранял не всегда скромные следы любителей ночного бдения.

Пляжных уборщиков в отеле «*Романик*» имелось целых два. Шариф прилично говорил по-немецки и тем меня радовал. Второй – Хабибулло – появлялся позже, с тем приходилось общаться на не любимом мною английском: он был совсем молоденьким парнишкой и к традиционной немецко-турецкой культуре не приобщался.

Я кивнул с улыбкой:

– Морген, Шариф-бей!

Турок был симпатичен своим мягким, сдержанным достоинством. И кроме того, хорошо ко мне относился. Выдавая зонтики: строго по браслетам, поскольку наш отель был четырехзвездным и не имел закрытого пляжа – он выбирал для меня лучший из отдельной кучки. А всем другим русским, я видел точно, всегда старался подсунуть сломанный.

При этом он, кажется, знал, что я русский.

Улыбнувшись, Шариф подхватил на совок окурок со следом помады, валявшийся около моего сланца. Я невольно проследил глазами и понял, что на самом деле то был не окурок, а пластмассовая застежка от бюстгальтера. Не от купального лифчика: те делались из металла и вшивались насмерть – обычная бельевая, белая с овальной прорезью и пучком красных ниток, вырванных с мясом. Тут кто-то торопился, хотя мне не хватало ума понять, зачем ночью идти на пляж, поддев белье.

–…Wie geht's?

Вежливость Шарифа укладывалась в самые строгие европейские рамки.

«*Как я поживаю*»…

Я зачем-то опять взглянул на часы.

И отметил дату.

Двадцать второго июля две тысячи седьмого года.

– Gut, – ответил я.

Хотя никакого «*гут*» не ощущал.

II

22 июля 2007 года…

Шариф пошел дальше.

Я откинулся на лежак.

Лучи утреннего, совсем еще бледного солнца падали на мои руки, живот и ноги, вытянутые к морю.

Все-таки странное это чувство – день рождения. Даже если он тебе в общем безразличен.

Сорок восемь лет…

Сорок восемь, чтоб мне треснуть!

Было время, когда мне казалось, что уже после двадцати я буду старым. Потом рубежом виделись тридцать. А сорок вставали, как выщербленная бетонная стена для расстрела. Или обрывались, словно край свежевырытой могилы.

Но вот сегодня мне исполнилось сорок восемь.

Край я переступил давно – значит, теперь уже летел в могилу, бездонную, как сама пропасть жизни.

Книг в этой жизни я прочитал очень мало; сначала не было возможности, потом исчез сам интерес, вытесненный приоритетами борьбы за существование. Но несколько главных, открытых еще в молодости, остались до сих пор любимыми, одной из таких были «*Три товарища*».

И там главный герой, такой же потерянный, как и я, в свой невеселый день рождения вспомнил главные даты прошлого.

Окажись сейчас под рукой лист бумаги, я бы их тоже отметил.

Начертил бы столбик.

Или, еще лучше – график. По оси X отложил бы годы, а по оси Y –успех.

Точнее, ощущение счастья, которое должно составлять смысл жизни человека. Любого – будь он хоть пляжным турком, хоть президентом шестой… Нет, наверное, теперь всего лишь седьмой или даже восьмой части света.

И тут же я подумал, что обычного листа формата А4 мне бы не хватило. Падение моей жизни, единственной и неповторимой – а главное, невозвратимой к точке начала – было столь глубоким, что ось X пришлось бы сдвигать на верхний край. А годы на оси Y слились бы до неразличимости. Итоги жизни стоило чертить в логарифмическом масштабе, но я напрочь забыл его суть. Помнил лишь, что он позволяет сжимать и растягивать оси, чтобы график оказался удобочитаемым…

Да и черт с ним, с этим логарифмическим масштабом, – подумал я. – Тем более, бумаги у меня нет.

И писать тоже нечем, нет даже простого карандаша.

А главное – нет желания травмировать себя воспоминаниями.

«Сир, в минувшем сражении наша артиллерия не стреляла по десяти причинам. Во-первых, кончились снаряды…»

В отеле, конечно, можно было найти и ручку и бумагу, однако в номер мне предстояло подняться только к обеду.

Я знал, что к тому времени стану совершенно другим, чем сейчас. Я буду разморенным и слегка пьяным от стакана бренди, принятого после омовения пресной водой под пляжным душем рядом с какой-нибудь полуголой женщиной.

Тогда день рождения станет совершенно безразличным; в моей жизни случались гораздо большие неприятности.

Но сейчас я был трезв.

Трезв до посинения.

До такой степени, что каждая клеточка звенела в моей ненужно наполненной голове.

И мысль о проклятом дне рождения сверлила так, словно хотела добавить к перманентному состоянию еще более яркий черный свет.

* * *

1959. Я родился. То есть, конечно, этого помнить я не могу. Но я знаю свою точку отсчета, которую можно оценить по-всякому. 1959 год – 14 лет от победы над Германией. Или 6 от смерти Сталина. 3 после одиозного XX съезда КПСС, развенчавшего культ Вождя. Съезда, делегатом которого был дед по маме, партийный работник, давший мне все лучшее, если, конечно, оно у меня есть. И до конца жизни тайно вспоминавший Сталина… с которым, ему кажется, довелось говорить по ВЧ. То есть по высокочастотной связи – подобию нынешней линии, скремблированной для защиты от прослушивания врагом. А врагов в те времена было много, врагом считался каждый второй. Да, 1959-й, сжечь бы все календари… 2 года до Гагаринского полета, казавшегося переворотом, обещавшим черт знает какие, но сбывшиеся даже малой долей перемены к лучшему. 7 лет до… Но можно было сказать и по-другому, в ином ладовом ключе. 1959 – год смерти моего отца, который попал под трамвай, спеша в роддом, где лежала мама со мной, 4 дней от роду. Ужасно и чудовищно и мелодраматично, будь литературным вымыслом. Но еще более ужасно, что так в самом деле подстроила судьба, сменив одну жизнь другой. Хотя с некоторых пор я стал понимать, что лучше бы мне было не рождаться, даже не появляться в планах; тогда бы мама не попала в роддом, отец никуда бы не спешил и остался жив. Сегодня ему исполнилось бы… семьдесят семь лет, он вполне мог до них дожить. По рассказам, отец был хорошим, добрым и веселым человеком. Замечательным, даром, что успел проработать всего четыре года, замечательным хирургом. Отец любил свою профессию и она любила его. И люди получили бы от него неизмеримо больше пользы, нежели от меня, сменившего на пути к Голгофе. Ведь всю жизнь борясь с жизнью, я не сделал счастливым ни одного человека. Но ничего не подлежало исправлению. Меня назвали в честь отца, еще его не похоронив. «*Евгений Евгеньевич Воронов*» в детстве и даже юности мне самому казалось звучным сочетанием, но много позже я узнал, что «*квадратность*» имени и отчества есть печать проклятия, омрачающая саму судьбу. Будучи полным атеистом – и потому страшно суеверным человеком – я сразу в это поверил, объективно оценив свою жизнь. Наверное, мне стоило сменить имя, как только то представилось возможным, и все сложилось бы иначе. Но теперь о том было поздно думать, хотя сейчас появилась возможность поменять не только имя, отчество, фамилию, но и цвет кожи и даже пол. В моем нынешнему состоянии мне бы уже ничего не помогло.

1961. Тот самый полет в космос. Когда я рассказывал о том друзьям: в недавнем прошлом у меня имелись друзья, которым можно было что-то о себе рассказать – надо мной смеялись, никто не мне верил. 12 апреля 1961 года мой возраст составлял… один год и восемь с половиной месяцев. Считалось, что ничего существенного я помнить не могу, но я, назло всем, помнил все. Помнил, как шел по улице – точнее, бежал перед дедом, который меня выгуливал – а встречные указывали на меня пальцами и повторяли одно слово: «*космонавт*»!!! От того дня даже осталась фотография: в те годы мама меня часто фотографировала, еще не утратив ощущения жизни. На старой, но не по-сегодняшнему четкой ФЭДовской черно-белой карточке я иду в сером – мама говорила, что на самом деле он был серебристый – комбинезоне и мое круглое улыбчивое лицо действительно чем-то напоминает хорошо покормленного

Юрия Гагарина. О том, кого напоминаю я сам себе в день сорокавосьмилетия, мне не хочется говорить. А фотография до сих пор лежит где-то в коробках, которые я забрал, расставаясь навсегда с квартирой своего детства.

1966. Я пошел в школу. Многие вспоминают соответствующий период жизни с умилением на вдохе и слезой на выдохе. Сейчас это модно, о том день и ночь твердят по ТВ и постят в Интернете. *«Школьные годы чудесные, мать вашу за ноги с песнею…»* Да, впрочем, и раньше у кого-то все было более, чем хорошо. Например, мама, эвакуированная в наш город из Ленинграда, в 1943 году познакомилась со своей подругой тетей Люсей, как я называл ее всю жизнь. Тетя Люся считалась мне второй мамой, а сейчас осталась единственной. Моя мама дружила с ней пятьдесят восемь лет, до своей смерти. Они не могли жить врозь, перезванивались ежедневно, каждую неделю ходили друг к дружке в гости или просто погулять. Мне трудно было приложить подобную дружбу к себе. Но я никогда не забуду, как осенью 1967-го одноклассник сделал мне подножку на большой перемене, после чего я три месяца провел в гипсе. Мама всегда умела проявлять жесткость лишь ко мне, учителям она скандал не устроила, не попыталась взыскать с родителей того негодяя по суду за нанесенный мне ущерб, даже не добилась перевода его в школу для трудновоспитуемых. Правда, детский организм реабилитировался, я инвалидом не стал. Но всю жизнь перед сменой погоды я испытываю глухую боль в колене, чего не могут понять те, кому я пытаюсь объяснить, почему меня порой душит злоба на весь белый свет. После школы связей я не оставил. Все десять лет меня уважали, но не любили: я был круглым отличником, учился в заочных физико-математических школах, изучал английский язык – на котором сейчас говорю, пишу и думаю практически так же, как на русском – и готовился к светлому будущему. Вместо того, чтобы пить в подворотнях портвейн и щупать на танцах подрастающие грудки одноклассниц – то есть делать все, что служит атрибутами возраста – я решал конкурсные задачи. А еще через много лет, уже в начале «*нулевых*», бывший школьный товарищ, с которым мы восемь лет просидели за одной партой и даже вместе писали сочинения, подделал документы с моей подписью и взыскал с меня 400 тысяч рублей судебным порядком. Чтобы отделаться от приставов, мне пришлось срочно продавать джип и занимать где только можно. По совокупности воспоминания сама мысль о школе вызывает только желание разбомбить ее до основания, не оставив камня на камне. И меня не трогает, что сама-то школа – с ее светлыми классами и провонявшими мочой коридорами – ни в чем не виновата.

1976. В этот год я поступил в ЛИАП – Ленинградский институт авиационного приборостроения. Мама страстно желала, чтобы я стал математиком, как она, или на худой конец физиком. А я с детства мечтал о профессии летчика, и если бы не некоторые проблемы с далеко не атлетическим здоровьем – в частности, с изуродованным коленом, которое не выдерживало тестовых нагрузок – то, возможно, переломил бы ее волю. Выбор теоретического института авиационной специальности означал определенный компромисс. Хотя потом я понял, что выпускник этого института столь же далек от реальной авиации, как часть тела ниже поясницы – от Луны.

1981. Я получил звание техник-лейтенанта после военной кафедры и в числе многих сокурсников был призван на двухгодичную службу, что казалось катастрофой. В стране тогда и на самом деле произошла катастрофа: началась Афганская война. Но она не воспринималась нами, двадцатилетними, как неправедное дело; мы оставались глупыми, словно едва прозревшие котята. Наш народ всегда был стадом рабов, и если американцы сжигали свой флаг перед призывными пунктами в знак протеста против войны во Вьетнаме, то русские покорно шли умирать, а уцелевшие еще и гордились побрякушками, полученными за эту бойню. Которая была зверством с обеих сторон, но та сторона все-таки защищала свой дом. Впрочем, практически все войны, которые вела Россия являлись захватническими. И даже «*священная*» началась на нашей территории благодаря проворству Абвера, позволившей Гитлеру напасть первым. Советский союз всегда был агрессором, нет более верного признака агрессора, чем патриоти-

ческое биение кулаком в грудь. В сравнении с кровожадными ораториями Сталинского СССР гитлеровские марши казались песенками для детского утренника, а та война обошлась нам не «*малой*» кровью лишь потому, что усатый мудак Ворошилов мог махать саблей, но не руководить стратегией. Но о таких вещах стали задумываться лишь теперь, в те годы мы витали в дурмане патриотизма. А я к тому же был комсомольским лидером – причем не из карьерных соображений, а по глубоко прочувствованному убеждению. Катастрофой служба казалась из-за того, что меня собирались оставить в аспирантуре и мама уже видела, как я останусь, займусь научной работой, с блеском напишу диссертацию, после чего вернусь домой и стану доцентом местного авиационного института. Мама всю жизнь работала именно там, в те годы доцентская должность давала деньги и полную уверенность в будущем, она заранее все распланировала для своего сироты-сына. Она, конечно, поступала правильно, не знав – как и все советские люди – что жизнь моего поколения повернется иначе… На кафедре меня успокаивали: говорили, что два года перерыва не страшны, обещали принять по возвращении из армии, рисовали призрачные горы до самого горизонта. Но мама до смерти боялась, что меня заберут воевать. На ее счастье – по случайности, связанной с военно-учетной специальностью – меня приписали к самолетам такого типа, какие в Афганистане не применялись. Большинство сокурсников разбросали по имевшимся дырам вплоть до танковых войск, но мне повезло. Меня определили в стратегическую бомбардировочную авиацию – страшное наступательное оружие, основу ядерной мощи страшного агрессора, каким был тогдашний могучий СССР. Машина, которую мне приходилось обслуживать, по НАТОвскому коду проходила как «*Bear-H*», то есть «*русский медведь седьмой модификации*», хотя выбор имени определялся первой буквой: все бомбардировщики всех стран назывались на «*B*» по причине английского слова «*bomber*». Наши «*медведи*» – огромные стадвадцатитонные четырехдвигательные восьмивинтовые «*Ту-95*» – базировались далеко от азиатских границ и выполняли совсем иные боевые задачи. Аспирантура с диссертацией тоже от меня не ушли. Но теперь со всей трезвостью закатного сознания я понимаю, что те два года в авиации – на заре молодости, во встречном потоке надежд – были лучшими во всей моей жизни. Хотя порой кажется, еще лучше было бы, если б меня определили на простые гробы-штурмовики и отправили в Афганистан. По крайней мере, я мог там погибнуть и избавиться последовавших мучений под названием «*жизнь*».

1983. Моя первая женщина, которую я познал в армии. Да, так получилось: в чисто техническом ЛИАПе девушек училось мало, а парней имелось хоть отбавляй. Каждый третий, если не второй был и красивее меня и красноречивее. Конечно, к тридцати я стал великолепным, как болгарский осёл, но в институте у меня ни с кем ничего не вышло. К тому же пагубное семейное воспитание держало меня в когтях химеры целомудрия. До определенного возраста я серьезно считал, что раннее познание мира вредно, что начинать его надо уже готовым к реальной семейной жизни и держал в голове еще кучу подобной чепухи: даже не пионерской, а октябрятской. В общем, девственность я потерял лишь в 24 года – страшно поздно и по современным меркам и по биологическим. Сейчас я уверен, что случись событие раньше, я сформировался бы другим человеком и по-другому смотрел на жизнь, которая тоже сложилась бы иначе. Но даже при таких начальных условиях мне сильно повезло. В военторговском буфете – каковые были одинаковыми при любой части, хоть авиационной, хоть строительной – работала женщина, приятная со всех точек зрения, а я по некоторым параметрам превосходил кадровых офицеров, настоящих боевых летчиков, которые ее окружали. И моя первая Тамара, бывшая лет на двадцать старше, ввела меня в мужской мир с максимально возможной аккуратностью и придала ускорение, восхитившись достоинствами, в которые какое-то время верил я даже я сам.

1985. Начало конца той жизни, к которой я стремился. Безмозглый демагог, ничтожный молоканин с печатью дьявола на лысой голове, нанесший Советскому Союзу удар, на какой не хватило сил Гитлеру.

1986. Возвращение в родной город – кандидатом технических наук, всего на два года позже против маминых планов. Первый брак. Авиационный институт, который – стоит вспомнить честно – принял меня с распростертыми объятиями.

Дальше все пошло под откос так быстро и стремительно, что я уже не смог бы расставить события по датам.

Развал СССР.

Ухудшение жизни во всех отношениях, потеря интереса к работе и перспектив к продолжению.

Попытки устроиться в различные коммерческие структуры – недостаточно активные и не увенчавшиеся успехом, поскольку я, как дурак, пытался применить свои авиационно-технические знания, которые были никому не нужны.

По ходу дел родились дети. Сейчас я даже не смогу сразу вспомнить годы их рождения. К тому времени моя первая семья разваливалась, как вся страна, и они, запланированные в любви, родились нежеланными. Я не общался ни с ними, ни с первой женой больше десяти лет.

Этот кусок жизни оторвался от меня и он мне полностью чужд.

1991. Иллюзия освобождения. Государственный переворот. Надежда на крепкую власть, себя не оправдавшая. Оперетка под звуки «*Лебединого озера*», после которого кубанский полудурок ушел в тень, но с танка на трибуну запрыгнул негодяй с триколором.

1993. Второй брак. Точнее, встреча с моей нынешней женой, обещавшая поначалу совершенно иную, счастливую и солнечную жизнь.

1994. Кровь, кровь, кровь… Льющаяся по всем телеканалам в прямом и повторном эфирах. Нация, на чьей территории оказался мой родной русский город, объявила себя субъектом Российской Федерации. Отныне и до скончания века мне было назначено ощущать себя здесь почти евреем в III Рейхе. То есть каждый день благодарить бога – в которого не верю – за то, что имею работу и живу на свободе, а не в концлагере…

1995. Я миллионер. В том смысле, что получаемая зарплата исчисляется в миллионах рублей. Инфляция, ежедневно убивающая несколько тысяч пенсионеров по всей бывшей Советской стране. И одновременно приносящая несколько миллионов долларов какому-нибудь олигарху из местных. Впрочем, слова «*олигарх*» мы тогда еще не знали.

1996. Круговорот лжи и предательства. Окончательная продажа всех нас в рабство главным ворам, прибравшим к рукам все, что было создано мною, поколениями моих родителей и родителями моих родителей – рабство хуже средневекового, разве что без клейма на лбу. Политики сменялись, как тузы в руках шулера. Нас много лет обманывали, и мы тому верили. Верили даже такие зрелые люди, как я. Мы помнили поздние, насквозь гнилые времена застоя, нас умело поманили свежим воздухом. Нам хотелось ринуться в поход против лжи, эгоизма, алчности, душевной косности – против всего, что вынудило нас пройти через бОльшую часть своей жизни. Но что же из всего этого получилось? Все распадалось, пропитывалось фальшью и забывалось. А если ты не умел забывать, то тебе оставались только бессилие, отчаяние, равнодушие и водка. Хотя даже водку у нас пытались отнять. Ушло в прошлое время великих человеческих и даже чисто мужских мечтаний. Эпоха титанов сменилась эрой хорьков. Торжествовали дельцы. Продажность. Нищета.

1997. Августовский кризис, обогативший несколько близких к власти негодяев и разоривший 90% простых людей

1999. Третья стадия рака, поставленная маме. Мы с нею жили не очень дружно все годы после моего возвращения домой. Как любой женщине, ей не нравились ни первая, ни тем более вторая мои жены. Но ее болезнь меня подкосила, словно связь между нами носила несуществующий в природе, физический характер. Помню, отвезя ее в онкологический диспансер – при помощи моей второй жены, нашедшей путь к лучшему врачу – я вернулся домой и полночи проплакал, сидя в пустой темной комнате. Жена веселилась на дне рождения молодого

сослуживца, который впоследствии – или уже тогда – сделался ее… Неважно чем; важно – кем стал я.

2001. Смерть мамы, освобождение от гнета, от ее неприятия моей жизни. И одновременно ощущение стопроцентного сиротства на этой земле. Своего одиночества, неприкаянности и никому ненужности.

2002. Мой партнер по бизнесу, с которым мы вложились в магазин автозапчастей для иномарок, обманул, отказался от договоренностей, прекратил выплату доли и угрожал меня убить. Я под следствием, куда попал из-за него, переложившего на мои плечи обязательства перед третьими лицами. Только благодаря быстро найденным доказательствам мне удалось возбудить уголовное дело против него, самому избежать суда, статьи и тюрьмы. Затем еще три года я преследовал его, прячущегося под защитой милиции, которую ему долго удавалось покупать. Потом посадил в тюрьму по той же статье, что грозила мне. Он сидит до сих пор; через пару лет должен выйти. Но моих денег, конечно, не вернет.

2004… Хватит, пожалуй. Дальше пошла сплошная свистопляска. Выбитый из колеи оборотом жизни, я бросался то туда, то сюда. Неудача в совместном бизнесе лишила смелости открыть свое дело; впрочем на это прежде всего требовались деньги. А получилось так, что у меня не осталось вообще ничего, как нет и сейчас. Я устраивался в различные фирмы и уходил оттуда, не проработав года, поскольку не получал ожидаемого. Или не мог удовлетворить требованиям начальства. Или… Или просто благодаря своей черной карме. Этого уже не хочется вспоминать.

Свой прошлый день рождения я отмечал…

Нет, слово неверно.

Я давно уже не отмечаю дни рождения.

У меня нет причин; радоваться им – удел успешных людей. А я неуспешен.

Я не могу назвать себя неудачником, ведь я еще жив и даже смог поехать на недешевый курорт.

Но я никогда не был доволен жизнью, потому что знал: я не занимаю того места, какое мог бы занять. И никогда не получу за себя цену, которой достоин.

Так чему радоваться? тут скорее стоит скорбеть о том, что годы идут, а результата нет.

Свой прошлый день рождения я встретил безработным. Нынешний – в общем тоже.

Хотя и в Турции, в официальном отпуске.

Я еще раз посмотрел на часы.

Еще раз удостоверился в сегодняшней дате.

До возвращения в Россия оставалось почти десять дней.

Конец был близок, но это был еще не конец.

По большому счету, я должен был быть не так уж и недоволен жизнью. У меня имелись две руки, две ноги, два глаза и так далее.

Но думать о будущем наедине с собой не оставалось сил. А так получилось, что в последнее время я остался наедине, хоть внешне казалось иначе.

Будущее смотрело на меня своими мертвыми глазами из мрака и пыталось схватить за горло. Но для таких случаев существовала водка.

В России, конечно.

В Турции я пил только бренди.

III

«*Гут*»…

Со стороны, конечно, все выглядело гут.

Да и черт со всем этим, – подумал я.

В наше время человек должен хранить маску благополучия. Иначе его просто сметут и затопчут. Все, от первого до последнего сверху донизу – и даже добрый турок Шариф перестанет выдавать лучшие зонтики, сунет нераскладывающийся или рваный.

Я потянулся.

Передо мной вспыхивали и гасли белые буруны прибоя. Дальше простиралось море – пустое, без парусов, без единого катера. И далеко-далеко, почти теряя цвет, соединялось с тоскливым горизонтом.

«*Тоскливый горизонт*», сравнение показалось мне слишком радикальным.

Тоскливый горизонт – тоскливый конец моря, соединенный с тоскливым, скорее серым, нежели голубым, небом. Почему-то в этих краях по утрам оно никогда не бывало чистым, даже солнце смотрело сквозь оползающие с гор серые облака. И еще, как ни странно, за все дни я не видел тут ни одной чайки.

Тоскливое море.

Тоскливый день рождения, из-за которого все кругом казалось таким серым и неуютным.

Дни рождения ущемляют самолюбие. Особенно по утрам…

Но, наверное, я все-таки мог постепенно прийти в себя. Ведь чем меньше самолюбия имеет человек, тем большего он стоит.

Я понял это с некоторых пор и то могло утешать. С другой стороны, если человек чего-то стоит, значит он уже стал как бы памятником самому себе. Это казалось мне утомительным и скучным.

И напоминало тех моих бывших друзей, пузатых сверстников, которые в любой момент были готовы лопнуть от самодостаточности, самодовольства и самолюбия, распирающих изнутри. Хотя они в самом деле являлись куда более счастливыми, нежели я; не мог не быть перманентно счастлив полный дурак, не видящий дальше своего пивного живота и телевизора с футболом.

Я знал себе цену и у меня уже не осталось самолюбия.

Но все-таки, несмотря ни на что мне было ужасно тоскливо встречать собственный день рождения в пустоте и одиночестве, даже если для меня он превратился в траурную дату…

Ведь кто бы что бы ни говорил, два праздника в году – новый год и день рождения – обладали некоей двойственностью.

Умом я понимал, что стар и неуспешен, что мне нечего отмечать в эти даты. И по большому счету, давно мечтал о календаре, в котором 30 декабря сменялось бы первым января, а 21-е июля – 23-м. Но…

Но в то же время какое-то детство, не вытравленное, не затоптанное, не выжженное до конца, коварно жаждало праздника. Ждало чуда, перемен, внезапного света, особенно в день рождения. Ждало хороших слов и подарков.

Да, и подарков тоже, хотя я давным-давно стал равнодушен к вещам.

По крайней мере к таким, которые мне оставались доступными; ведь глупо было мечтать, что мне подарят самолет. Или хотя бы бумажник из крокодиловой кожи.

День рождения не только без подарков, но и без поздравлений – наверное, этот вариант был самым достойным для такого человека, как я.

Хоть я сам себе его устроил.

Я не взял с собой мобильный телефон: роуминг обошелся бы слишком дорого; кроме того я собрался полностью отключиться от российских дел. Можно было, конечно, позвонить домой из уличного пункта, чтоб жена меня поздравила. Но это казалось чем-то совсем уж глупым. Звонить самому, чтобы тебя поздравили, было несерьезно.

Когда я уезжал, жена сказала, что заранее поздравляет с наступающим днем рождения и желает, чтобы в этот день я не напивался до смерти. Это было полностью законченным вариантом и не требовало повторения.

* * *

Пляж оставался пустым.

Народ все еще завтракал.

И Шариф еще не открыл свой железный склад, поскольку пока было некому выдавать ни матрасы, ни зонтики.

Солнце, хоть и не слишком заметное, все-таки оставалось южным, а загорать я не любил. На мой взгляд, в наше время загар стал признаком принадлежности к определенному кругу людей, которые могут в любое время поехать на теплое море и зажарить себя до состояния тоста – и тем самым словно напоминают остальным о своей успешности. Такие мне были противны даже в лучшие периоды жизни, а уж сейчас я не желал уподобляться им даже раз в год. Кроме того, с детства не выносил жары, ни зноя, потому тут всегда сидел в тени.

Без зонтика солнце начало утомлять, пора было охладиться.

Я встал и пошел к берегу.

Песок качался под моими ногами.

* * *

Ему было с чего качаться.

Вчерашний вечер прошел богато.

Впрочем, как и все предыдущие.

И как, я надеялся, предстояло пройти всем оставшимся.

Хотя не знавший меня, сказал бы, что «*вчера было что-то*».

Сначала, сразу после ужина, я сидел перед эстрадой. Точнее, мы сидели втроем, собутыльниками были мои ровесники, русский мужичок Саша и веселый грузный поляк Кристиан – с непольским ударением на первый слог в имени. Последний едва говорил по-немецки, все время пытаясь переходить на чудовищный русский, но это не мешало нам с четкой периодичностью наполнять и опустошать стаканы.

Впрочем нет, сидели мы не втроем, а вчетвером. При Саше, приехавшем сюда, подобно мне, в одиночестве, постоянно находилась красивая кореянка, чьего имени я так и не узнал. Не туристка из Кореи – русская азиатка, каких в России была тьма, он подцепил ее тут на второй день. И теперь сокрушался, что завтра ему придется уезжать и они расстанутся навсегда. Но до вчерашнего вечера Саша был счастлив: на курорте ему удалось реализовать мечту любого нормального мужчины. Последняя заключалась в том, чтобы в нужной ситуации найти нужное тело, причем ровно на нужный период времени, ни меньше, но и не больше. Сашу не напрягало даже то, что кореянка не позволяла ему всерьез пить – разрешала лишь полстакана водки вечером, в компании нас с Кристианом..

На самом деле, удайся мне затащить к себе в постель такую кореянку – или немку, украинку, турчанку, кого угодно… – то и я бы покончил с пьянством. Ведь, по большому счету, алкоголь есть лишь универсальная замена всему остальному, недополученному в жизни.

Женщинам в том числе.

Да, женщинам, чтоб им всем провалиться до центра Земли! Кое-кто, прочитав мои мысли и не найдя тревог за судьбы мира, назвал бы меня ничтожным скотом. Но что могло радовать меня – не имевшего простых страстей, не любившего своей работы… и уже ее потерявшего – кроме любви к женщинам как единственной оставшейся сущности?

Смыслом бытия остались женщины. Все равно какие, поскольку интересующее имелось у любой и сильным разнообразием не отличалось.

Правда, сейчас женщин мне заменила выпивка.

Но рассуждать о сущностях не имело смысла, я просто вспомнил вчерашний вечер.

В общем, сначала мы посидели вчетвером, Саша оприходовал свои сто пятьдесят, за Кристианом я не следил, кореянка пила колу. Я неторопливо влил две полных порции бренди в дополнение к трем, недавно принятым за ужином. А если посчитать всю вчерашнюю дозу, то получалось, что начал я – вернувшись на территорию после утреннего купания – с двух стаканов, выпитых прямо в бассейне. Потом за обедом употребил еще два. За ужином – три. То есть на старте вечернего забега во мне было уже семь стаканов отличного турецкого бренди. И даже с учетом того, что в посуду никогда не наполняли до краев, получалось больше литра.

И тем не менее я был жив и находился в неплохом настроении.

Пока на сцене шла традиционная в этом семейном отеле детская дискотека – нечто вроде вечернего утренника – я выпил еще два стакана.

Потом началась дискотека для взрослых, такие шли через день, чередуясь с каким-нибудь шоу.

С ее началом Саша и кореянка молча поднялись; предстоящая ночь была у них последней, я бы тоже использовал ее по максимуму. А мы с Кристианом, не любя слишком громкой музыки, переместились на лужайку между старым и новым корпусами, где примостился «*нижний*» отельный бар, окруженный редкими бананами, чьи листья задумчиво шелестели на ветру.

Там, уже без женского взора – непроизвольно контролировавшего любое движение в сторону спиртного – мы добавили. Потом еще раз и еще.

Через некоторое время к нам присоединились две пары блаженных лет середины третьего десятка, приехавшие из Роттердама.

С голландцами я познакомился в первый вечер именно здесь, они жили в «*Романике*» уже несколько дней и любили банановый бар больше всех прочих мест, благодаря им полюбил уголок и я. И все часы от после ужина до отхода ко сну проводил тут, медленно наливаясь бренди. Сидел и сидел, лишь изредка поднимался, чтобы прошагать вверх вниз по «*полуэтажному*» переходу в арке старого корпуса – к эстраде, где мог наполнить чашечку в автомате. Ведь мой организм ощущал себя в полных эмпиреях, когда вкрадчивые ласки алкоголя перемежались ударами кофеина.

Около этого бара и в самом деле было очень уютно среди сумрачных банановых зарослей. К тому же там стояли прочные деревянные столы на железных ножках и такие же диванчики; жесткость конструкции позволяла пить без предела – совсем не так, как у бассейна перед эстрадой, где с шаткой пластиковой мебели, рано или поздно, можно было чебуртыхнуться головой о плитку. Голландцы пили несерьезно: брали сомнительной крепости коктейли из водки с тоником и уходили спать рано, не позже часа ночи. Но все равно мне было с ними хорошо. Даже не просто, а очень, очень хорошо. Никогда прежде не знав ни одного голландца, я даже не подозревал, что это такие легкие, веселые и добрые люди.

Вот и вчера, устроившись под бананами, мы продолжили ежевечернюю попойку вшестером.

Наша компания на посторонний взгляд показалась бы комичной. Противоположностями смотрелись изрядно пузатый Кристиан и голландец Дик – подтянутый, расписанный татуировками, словно герой американского боевика. Его подружка Симона – черноволосая и коренастая – словно сошла с картины Вермеера и казалась мне истинной голландкой, каких до знакомства

с нею я представлял себе теоретически. Вторая девушка, Лаура, была иной: тонкой, белокурой и очень высокой; рядом с ней ощущал низкорослым даже я, природой не обделенный. Лаура казалась этаким гибким золотоволосым, голубоглазым почти готическим ангелом с нежной улыбкой, которую не портили сверкающие брэкеты на верхних зубах. Ее парень, совсем молодой мальчишка Хербен, был длинным, тощим до невозможности и склонялся на ветру сильнее, чем банан за его спиной. Забаву наших вечеров дополнял тот факт, что из человеческих языков Дик с Симоной более-менее знали немецкий, но Хербен и Лаура говорили только по-английски, в котором Кристиан был ни в зуб ногой. И в наших пьяных беседах я служил переводчиком: с английского на немецкий, тут же в обратную сторону, а иногда в обе одновременно.

Мы сидели и пили, обнимались и клялись друг другу в вечной любви на разных языках, пока за Кристианом не пришла жена – усталая худая женщина по имени Хелена, упорно считавшая меня немцем. Она каждый вечер давала своему мужу определенный промежуток свободы, потом уводила спать. Так было и вчера: Кристиан, осознав свою ошибку, молча повиновался, встал и поплелся прочь, подталкиваемый в спину мрачным Хелениным взглядом.

А мы остались впятером.

Сколько я выпил с голландцами, не было смысла вспоминать: по достижении некоторой дозы один или два лишних стакана уже не играли никакой роли в результате. Однако, вероятно, я добавил еще порции четыре. Воспользовавшись уходом Кристиана, я учил голландцев ругаться по-польски. Лаура была яростной противницей сквернословия и всегда поднимала палец, начисляя штрафное очко, когда у меня вырывалось английское ругательство, благо понимала только их. Последнее шло мне на пользу, поскольку убогие британцы, не знающие ничего кроме «*бастардов*», задыхались рядом с сочными пищеварительными оборотами немецкого образца. Польские пришлись по вкусу всем, поскольку «*холера ясна*» я произносил очень ласковым тоном – не говорил, а выдыхал, как в нежное ушко любимой женщины.

Я умел скверно выражаться на неисчислимом количестве языков, включая идиш и татарский.

Но мне не хотелось портить славных ребят слишком сильно, поэтому я сдерживал лексикон в рамках трех.

Обычно на определенной стадии вечеринки меня просили спеть. Петь я умел и любил не меньше, чем пить; хотя два процесса всегда видел параллельными. Голландцы любили русские песни, всегда поддерживали меня, довольно ловко имитируя непонятные звуки.

После нескольких романсов моих друзей из страны сыра и тюльпанов заинтересовало другое – им позарез захотелось пить наравне со мной.

Эту попытку они совершали каждый вечер, почти сразу сходили с дистанции, но повторяли вновь и вновь, надеясь на второе дыхание. Вчера, делая страшные глаза и ужасаясь, все четверо проглотили по стакану чистого бренди, запив его пивом, которое зачем-то приносили с собой из города, хотя в отеле им можно было разжиться почти круглые сутки. Это пиво, в марках которого я не разбирался, живя по принципу «*меньше, но крепче*», их вероятно, и добило.

В половине первого голландцы были никакими. Мы оттолкнулись от столика все одновременно, я поочередно шатнулся к каждому: сладко поцеловался с девушками, крепко обнялся с парнями.

Потом они схватились друг за друга и, напевая невнятную песню на языке, вряд ли понятному им самим, пошли спать.

Жили они в новом корпусе, его отделяли от бара десять шагов, которые, даже выпив-таки наравне со мной, они бы одолели на локтях.

А я, не присаживаясь обратно, подтянул полосатые шорты, одернул черную футболку и, шагая почти прямо, отправился в ночной бар на крышу своего корпуса – старого, похожего на небольшой, но океанский пароход.

Этот уютный уголок, единственный в семейном отеле, функционировал до утра и служил туркам средством получения дополнительных денег: здесь предлагались напитки иностранного производства, которые облагались пошлиной и не входили в систему «*All inclusive*». Поднимались сюда в основном богатые русские, любившие по ночам пить залпом французский коньяк *V.S.O.P.* или шотландское виски из Англии. По всем этим напиткам и по липкому пойлу «*бейлиз*», бар работал *for cash*, то есть за наличные деньги, но для массового привлечения посетителей имелись бесплатные бутылки и пара фальшивых бочек с порошковыми винами, какие стояли в остальных барах.

Однако и платные бутылки радовали самим фактом своего существования.

Ведь нельзя выпить все спиртное на свете, равно как нельзя поиметь всех женщин в поле зрения. Причем не по вторичным причинам, а из-за нехватки времени.

Но тем не менее даже в былые годы, сидя где-нибудь со спутницей, опустив руку под стол и исследуя кружевные края ее трусиков, я продолжал смотреть на других женщин, оказавшихся поблизости; обладание одной не умаляло удовольствия разглядывать других.

Более того, процесс наполнял и реальное обладание особой глубиной, ведь человек, выросший из обезьяны, изначально был существом полигамным, лишь оковы морали не позволили индивидууму наслаждаться количественно в той мере, какую требовала природа.

Живи человечество по принципу «*каждый с каждой, все со всеми*», в мире не было бы ни зависти, ни злобы ни даже войн…

То же самое я ощущал в отношении выпивки и потому любил ночное заведение «*Романика*».

Сама здешняя атмосфера казалась мне иной.

В баре золотисто отсвечивал коньяк, джин переливался, как аквамарин, а ром был как сама жизнь. Словно налитый свинцом, я недвижно восседал за стойкой. Плескалась какая-то музыка, и бытие мое было светлым и сильным. Оно мощно разлилось в моей груди, я позабыл про ожидавшую меня через несколько дней беспросветную жизнь в России, забыл отчаяние своего существования, безработицу и грядущую нищету, и стойка бара преобразилась в капитанский мостик корабля жизни, на котором я шумно врывался в будущее.

К счастью, бренди здесь не переводилось и ночные бармены любили меня не меньше дневных; один за другим я принял еще три стакана.

И только после этого пошел спать.

* * *

Ступив на кромку прибоя, я остановился.

По утрам вода Аланийского побережья никогда не бывала теплой.

Я не отличался любовью к моржовым купаниям, но сейчас оно являлось жизненно необходимым.

Оно могло помочь мне еще раз послать к черту этот свой день рождения.

Мой купальный наряд выглядел радикально: держался на шнурке, а причинное место было украшено шевронами из фосфоресцирующего материала, хотя мне всегда казалось, что в темноте нормальные люди обходятся без плавок.

Шнурок отличался коварством: однажды я смаху бросился в волны, а трусы остались на поверхности, радуя всех, кто это видел. Впрочем, этого не видел, кажется, никто. Да и видеть было нечего, я нырял лицом вниз. Да если бы и увидел, то вряд ли восхитился, будучи женщиной – или позавидовал, будучи мужчиной.

Но все-таки теперь перед каждым рывком в воду я на всякий случай подтягивал узел на животе.

Справившись с плавками, я прошел метров двадцать влево от границы нашего пляжа. На траверсе соседнего отеля дно всерьез чистили от камней, спуск в воду не сопрягался с риском остаться без ног и, поскольку охрана за сопредельными территориями не следила, я старался купаться именно там. Особенно когда не слишком твердо стоял на ногах.

Правда, умным был не один я; днем там оказывалось некуда ступить от тех, кто тоже искал приемлемые места для купания. Но сейчас еще дрожало утро и море оставалось почти пустынным.

Я оглянулся, точно кто-то мог меня увидеть, броситься на шею, наговорить кучу нежных слов и оттащить подальше от воды. Но броситься никто даже не подумал, хотя на песке вроде бы валялись какие-то женщины. Вздохнув, я зашел в море по колено, накат ожег мне ноги.

Высшим проявлением воли я видел медленное вхождение в ледяную воду. Шаг за шагом, остужаясь сантиметр за сантиметром.

Но я никогда не считал себя излишне волевым человеком.

– *Du Scheisse*…

Ругательство вырвалось с тихим отчаянием.

В том, что я бранился на языке Гёльдерлина, не было ничего странного; в Турции я всегда был немцем. Не просто говорил по-немецки, а именно им был, оставляя русскую сущность за красной линией в аэропорту.

Одевался, как немец, вел себя, как немец, сам себя считал немцем – сумрачная Хелена не сильно ошибалась в моем видоопределении.

Я малодушно остановился. Больше всего мне хотелось сделать шаг назад. Вернуться в отель, подождать пока откроется бар у бананов и влить в себя пол-литра жизни, а уж потом идти в это чертово ледяное море.

– …*Die Katzendrecke*!

Это относилось уже ко мне самому.

Задержав дыхание, я плюхнулся на живот – едва не потеряв сознание от холода – и поплыл, разводя руками волну.

Море напоминало вытрезвитель.

То есть было именно тем, что требовалось.

Оно мгновенно смыло мысли о жизни.

И я, кажется, стал возвращаться в обычное состояние.

IV

Быстро наступала жара, а с нею отступал хмель, сдавая позиции ненужным мыслям, которые в трезвом состоянии днем не позволяли расслабиться.

Я знал, что против них имеется лишь одно средство.

Выпивка, выпивка и еще десять раз выпивка.

Все та же выпивка – простая и надежная, как револьвер системы Нагана. На пляже имелся еще один бар, однако он был платным, как везде за территорией отелей средней руки, имевших свободный вход с улицы. Турки могли легко сортировать посетителей, идентифицировать имеющих право на бесплатную выпивку, поскольку постояльцы носили оранжевые браслеты с названием заведения. Однако хозяева «*Романика*», вероятно, считали, что взять дополнительный «*кэш*» стоит с любого, кто хочет злоупотребить, не ходя далеко.

Они смотрели в корень; я часто видел, как состоящие из одних животов русские парни вида футбольных болельщиков с такими же опознавательными знаками, что и у меня, регулярно накачивались тут пивом.

Сам я придерживался железного принципа: выехав за границу, не тратить ни цента сверх уплаченного за путевку.

Не давать чаевых горничным, не покупать булочек на пляже…

Правда, из любого правила существовали исключения, здесь я его нарушил – правда, всего один раз. Ресторан «*четырехзвездника*» не давал воды на вынос; в первый же вечер я купил на запас два полуторалитровых баллона – очень дорого, в лавке около эстрады, потому что идти в город не хотелось, а я боялся умереть ночью от жажды.

Эти бутылки так и стояли нераспечатанными у меня в номере на комоде по обе стороны от телевизора: видимо, суточную потребность в жидкости я удовлетворял за счет бренди. И еще, конечно, организму помогали немецкие протертые супы, которые я любил до беспамятства и на каждом обеде еду брал как минимум по две порции каждого из видов, которых обычно бывало два: красный и белый.

Но вследствие принципов пляж оказался для меня зоной, свободной от алкоголя, и пребывание тут доставляло мне особое удовольствие. Ведь чем дольше приходилось ждать желанного, тем сильнее оказывалось наслаждение.

А солнце жгло в полную силу. Я спрятался под зонтик, который, как всегда, оказался идеальным, но зной тек и сюда, скрыться от него было некуда.

Я выбрался наружу и жар плотно обхватил меня, сдавив бока горячими ладонями. Поднимая ноги, как кошка на раскаленной крыше, я спустился к морю кратчайшим путем. И уже тут, ощутив желанную прохладу, решил прогуляться вдоль полосы прибоя к точке оптимального входа, на траверсе которой под водой пряталось меньше камней, чем слева и справа.

Мокрый, как губка, песок мягко пружинил, каждый шаг выдавливал в нем лунку, точно я ступал по весеннему льду. Достаточно толстому, чтобы держать, но уже сильно подтаявшему.

Почти с удовольствием шел я по извилистой кромке между оторочками пены и телами загорающих.

Пользующиеся пляжем по праву проживания в «*Романике*» имели лежаки, матрасы, зонтики и даже глиняные горшки вместо урн для мусора, равномерно расставленные по рядам. Мест обычно хватало на всех: считать турки умели лучше всего прочего.

Приходящих никто не гнал, вся Аланья стекалась на эти городские пляжи, незаконные гости устраивались с относительным удобством у самого берега. Сейчас они валялись на песке, словно трупы расстрелянных с воздуха, напоминая какой-то фантасмагорический Дюнкерк.

В основном то были турецкие семьи: коренастые мужики в длинных шортах и их жены, которые купались одетыми. Я не мог себе представить удовольствие барахтаться в одежде, потом в ней же сидеть на берегу. Сам я не выносил ощущения мокрой ткани даже в жаркий день, плавок имел две пары и сидел в одних, пока другие сохли. Турчанки же могли периодически купаться и обсыхать, снова купаться и снова обсыхать, не смывая соли с утра до вечера. Для азиатов это, видно, было привычным. И они не думали, насколько неприятно нормальному человеку оказаться рядом и вдыхать аромат прокисших тряпок.

Однако приходили сюда и европейские женщины особого рода: проститутки, которые слетались на летние заработки, поскольку белая самка в Турция всегда пользовалась вниманием. Эти вели себя иным образом: оставив стринги в три пальца шириной, раскидывались так, словно имели по пять тел, и лежали с видом безразличия к взглядам – бьющим наотмашь женским и плавящим мужским. Хотя на самом деле ради последних они и лежали тут, не просто у воды, а на самой кромке, заставляя через себя перешагивать.

И, честно признаться, я и сам перешагивал через жриц любви не без удовольствия, хотя и не собирался пользоваться их услугами.

Пока мужчина жив, его радуют голые женщины – а я, несмотря ни на что, еще не умер, хотя и не мог сказать, хорошо это или плохо.

Вот и сейчас я прошел мимо двух пляжных шлюх средней степени потасканности, раскинувших под солнцем бедра и бюсты топлесс. Тела отливали синюшной белизной, из чего напрашивался вывод о том, что работа началась недавно. У одной из них были большие груди с бесцветными круглыми пуговичками; млечные бугорки второй, довольно скромные, были украшены темными сосками «*географической*» формы – в общем некрасивыми, но иррационально манящими, о чем говорили свежие синяки, краснеющие, словно острова вокруг материков.

Да и вообще когда-то давно, еще в бумажной газете ранних постсоветских времен, я читал слова одного великого модельера: «*грудь – самая красивая часть женщины, а соски – глаза ее тела*..

Частями и глазами отель «*Романик*» радовал.

Он относился к разряду семейных, то есть здесь на каждом шагу можно было споткнуться о чьего-нибудь ребенка, а порой и шаг было сделать некуда. Вероятно, на пляже какого-нибудь сверхвеликолепного «*Манго*», где один день проживания стоил больше, чем я заплатил тут за две недели, имелся строгий дресс-код даже для пляжа, но здесь царила вседозволенность нравов. Каждая женщина могла радовать всем, чем могла, и я сильно сомневался, чтобы кто-нибудь сказал хоть слово, явись она к морю без трусиков. Но, к сожалению, на такое еще ни одна не решилась.

А дети двадцать первого века не были детьми двадцатого, каким я помнил себя. Году в семидесятом или семьдесят первом мама возила меня на лето в Евпаторию: с рождения я каждую зиму болел воспалением легких, иногда даже по два раза за сезон, и она решила вылечить меня сухим крымским жаром. Те времена были эрой плотных купальников с трусиками типа шорт и лифчиками, напоминающими бронекабины воздушных стрелков. Но мы с пляжным приятелем, таким же гормонирующим пацаном, как и я, трепетали около взрослых, игравших в подкидного дурака на двух сдвинутых топчанах. Ведь одна тетка, чья-то некрасивая загорелая мать, протягиваясь к колоде за картой, наклонялась так сильно, что твердая синяя чашечка отходила от торса и под ней мы видели молочно-белую грудь. Когда однажды какой-то туз открылся, отлетев в сторону, она подалась еще сильней, спеша его спрятать, и между синим и белым мы увидели розовый сосок. Сейчас было стыдно вспоминать, что за тем последовало. А современные мальчишки, точно такие же, как мы, бродили по пляжу и перешагивали через голые женские груди, не отрываясь от своих плееров и прочей современной ерунды.

В восемьдесят… Каком именно, я мог вспомнить, но мне этого не хотелось, я и так вспомнил сегодня слишком много… В восемьдесят каком-то году, еще при Брежневе, мне выпала огромная удача: я поехал за границу, что в советские времена считалось подарком судьбы. Причем не по путевке, я был «*бойцом*» интернационального строительного отряда, ездил на целый месяц в ГДР, не платив ни за что, лишь обменяв рубли на социалистические марки для покупок: проезд, питание и проживание мы заработали сами, копая траншеи под руководством немецкого прораба.

Хотя за проживание в студенческом общежитии на улице Юрия Гагарина старинного города Дрезден стоило приплатить: подвальные душевые имели чисто германскую планировку – парни и девушки раздевались в общей раздевалке, из которой боковые двери вели в гендерные, как бы сейчас сказали, отделения. Наши девчонки, на родине строившие почти валютных проституток из-за своей востребованности в институте, краснели и уходили мыться в купальниках. Полагаю, что и под душем они их не снимали, потому что веселые немецкие комсомольцы любили совершать голые рейды за дверь под буквой «*F*» и выгоняли их не сразу.

Что происходило там под смех и шум воды, осталось неизвестным: я был девственным, а к тому времени, когда созрел для броска в пропасть, срок поездки подошел к концу. Но те не менее много лет спустя, слушая песню с назойливым рефреном «*за это можно все отдать*», я думал, что отдал бы именно все за возможность еще раз пожить в том нескромном раю, теперь бы своего не упустив. Ведь – опять-таки, слишком поздно – я узнал, что немецкая медицина с давних пор прямо в роддоме назначила операцию, после которой поведение существа женского пола определялось не дилеммой «*потерять – не потерять*» в отношении своей никому не нужной девственности, а лишь желанием и выбором. Но в то лето лишь розовел, когда немецкие девушки – раздеваясь, одеваясь или вытираясь – заводили со мной, раздетым, спокойный разговор, из которого я понимал примерно половину, но отвечал тоже спокойно. Ну… почти спокойно и по понятной причине повернувшись к ним спиной.

Равно как по той же причине я лежал на животе, когда в том же Дрездене ездил после работы на нудистский пляж – искусственный пруд, по краям которого были насажены очень густые кусты. А вот немецкие дети, с рождения привыкшие к культуре тела, бегали там, не обращая внимания ни на что. Да и взрослые мужчины были привычными ко всему. Но привычка не мешало некоторым парам уединяться среди кущей в недвусмысленных позах. Однажды я чуть не лишился чувств, когда решил пройти к пруду напрямик и почти споткнулся о любовников почтенного, как тогда казалось, возраста: розовая женщина лет сорока лежала на спине, зажав бедрами руку голого мужчины, и по лицу ее блуждало неземное выражение… Впрочем, сокурсник-ленинградец – теперь уже петербуржец – с которым я до сих пор поддерживал периодическую связь, писал, что сейчас на таком же пляже в Комарово, что на Карельском перешейке, уже никто не уединяется, позы занимаются на всеобщем обозрении и не всегда парно.

На турецком пляже городского типа до такой радикальности дело еще не дошло, но поведение подростков сулило серьезное будущее.

Загорать топлесс на нашем пляже некоторые женщины любили; они словно забыли, что солнце – по сути убийца, и если кому-то на роду предписана онкология, то нет лучшего способа ускорить процесс, нежели провести две недели у Средиземного моря с голым торсом. Но, вероятно, короткая жизнь под длинными мужскими взглядами тоже имела смысл.

Ведь лишь убогие телом считают, что мужчина требует, а женщина терпит, на самом деле женщине все, для чего она обнажается напоказ, является еще более жизненно необходимым.

Постоялицам «*Романика*», дразнящим весь мир голыми сосками с лежаков, ничего, кроме солнца, не грозило. Туристы друг к другу не приставали, а турецкое внимание не являлось серьезным: несмотря на вседозволенность, у ворот отеля, над входом на пляж, всегда сидела охрана. А, как я понял давно, для турка, облаченного в форму и наделенного правами,

не было большего удовольствия, чем законно отдубасить такого же турка, но без формы и без прав.

Но все женщины, которые загорали просто не песке, считались общим достоянием и вокруг них скапливались аборигены.

Около этих двух, которых я мне предстояло перешагнуть, слева сидели по-турецки два загоревшие до черноты турка в одинаковых белых бриджах, справа один очень молодой строил замок из песка, а напротив еще два, по-ирокезски волосатые, играли в мяч.

Смотреть на них было смешно; претенденты словно не понимали, что обеих девок вместе с их пуговками и Антарктидами можно просто купить всем пятерым по очереди. Хотя, скорее всего, они прекрасно понимали, но разыгрывали спектакль, поскольку любому мужчине – даже распоследнему из азиатов – было приятнее завоевать женское внимание, нежели просто заплатить за него.

Разумеется ход моих мыслей, вращающихся вокруг женщин, заслуживал абстрактного неодобрения. Но ведь даже рациональность наших дней источником движения имела простую биологию. Во всяком случае, если люди во время отпуска ехали не в Париж нюхать обгаженные собаками углы, а спешили к морю, то это им было нужно. И в таком отпуске главными составляющими являлись взаимные томления тел.

И Саша и его безымянная кореянка имели на родине семьи. Он жаловался, что курортная спутница жизни держит в ежовых рукавицах хуже настоящей жены, а она не только сверкала обручальным кольцом на правой руке, но почти каждый вечер прямо за столом разговаривала по телефону тоном, уместным лишь с законным мужем. Оба были довольны той жизнью, что осталась дома, но и здесь нашли желаемое, и это казалось всем совершенно нормальным, да нормальным и было. Оба приехали из разных городов: Саша имел характерный Псковский говор, кореянка вечерами непроизвольно зевала, что выдавало жительницу зауральских мест, где ночь наступала часов на шесть раньше, чем в Турции. Они встретились ровно на две недели, чтобы разойтись навсегда, не наскучив друг другу и не свалившись в колодец ненужных проблем. Их связь ничему не могла помешать, поскольку была соединением не душ, а тел.

Да и вообще, с определенного момента я стал видеть, что такие вот быстрые романы – радующие порой просто видами удовольствий, неприемлемыми в семейной жизни – служат средством сохранения семьи. Ведь после них мужчина мог снова понять, что женщина – не только стерва, требующая вынести мусор, а женщина обнаруживает в мужчины некоторые устремления помимо рыбалки. А вот в настоящем супружестве у большинства все довольно быстро приходит как раз к помойкам и рыбалкам.

И обратно уже не возвращается.

К чему сошло у нас женой, мне не хотелось вспоминать.

Так или иначе, я видел в *Seitesprung*-ах единственное средство выживания в законном браке.

Обычная семья оставалась в лучшем случае запеченной курицей с картофельным пюре, а происходящее на свободе оказывалось французским луковым супом. Конечно, нельзя было постоянно питаться одним лишь луковым супом, но чем жить на одной картошке, было лучше не жить вовсе. Смысл жизни состоял в том, чтобы изредка находить себе приключения хотя бы на отдыхе.

Другое дело, что кому-то эти приключения выпадали, как шоколадки из вендингового автомата, а другим – нет, при всех стараниях.

Я вздохнул, отгоняя последние мысли, еще более черные, чем сравнительный анализ дать по поводу о своего дня рождения.

Проститутки перевернулись: обе сразу, с точностью пловчих-синхронниц, отрабатывающих композицию на песке. Веревочки стрингов утонули в срамных развалах, тела казались полностью голыми. Я вздохнул еще раз; во времена приличных трусиков смотреть на полуоде-

тых женщин мне было не так тоскливо. Хотя, вероятно, сейчас мне было бы тоскливо смотреть даже на полностью одетых.

Я обошел девиц посуху, не поленясь отклониться от курса: мне не хотелось впускать в себя запах их потных выпуклостей.

Мысли о женщинах стоило прервать, хотя бы на некоторое время. Я миновал еще несколько тел, не глядя ни подробности их устройства, и снова свернул к морю.

Быстро прошел на глубине, протиснулся в мутной воде между орущими детьми, шумно переговаривающимися немцами, турчанками – похожими на дирижабли в раздувшихся от воды одеждах – голодными турками и прыщеватыми русскими девицами на выданье под надзором бочкообразных мамаш.

И, наконец, вырвавшись на открытое пространство, лег плашмя и раскинул руки.

* * *

Я умел плавать различными стилями: кролем, брассом, на спине, в молодости мне как-то раз даже удалось преодолеть два метра баттерфляем.

Но атлетическим сложением я не отличался, а на море даже в лучшие времена оказывался лишь раз в году. Поэтому ресурс моих сил был ограничен, и я не то чтобы осознанно боялся, но разумно опасался заплывать слишком далеко.

Но разум порой меня покидал – особенно в начале отдыха, когда весь мир казался россыпью бриллиантов, сверкающей в только что вскрытой коробке, и его стоило брать горстями

В один из первых романических дней, зайдя в море, я ощутил надежность плотной воды, которая не давала тонуть почти без усилий с моей стороны, и смело устремился от берега. Плыть в даль, не имеющую видимых границ, оказалось на удивление легко. Не заметив, я преодолел невесть какое расстояние: на нашем безалаберном пляже не имелось ни буйков, ни даже канатов по границам. Остановился я, лишь когда увидел, как прямо на меня поперечным курсом летит катер, таща за собой экстремала на планирующем парашюте. Как-то вдруг и сразу ощутив, что очень устал, я повернул назад. Доплыл обратно я тоже без труда: ушел из зоны катеров и «*бананов*», отдохнул на спине, а потом греб спокойно, никуда не спеша. Но потом чуть не утонул, минут пятнадцать преодолевая последние метры. Невысокая волна, незаметная на открытом пространстве, у берега била в полную в силу и не давала добраться до мелководья. Я плыл, как пьяный боцман, вкладывал все силы в удары рук, а накат методически отбрасывал меня назад. Я видел пляж, видел людей, которые плескались впереди; я не просто слышал их голоса – я был уже почти среди них.

Но прибой держал на месте, давая взвесить все «*за*» и «*против*».

Спасателей на нашем пляже не имелось, не было даже просто человека, следящего с берега за ситуацией на воде, хотя такое положено в курортных местах. И я очень хорошо представлял, как все будет.

Лишившись дыхания на глубине один метр девяносто сантиметров, я бы исчез среди людей жарким веселым днем, а потом тело мое, унесенное обратно волной, всплыло бы где-нибудь у берегов Кипра.

В неромантическом отеле «*Романик*» истина о непотопляемости рожденного быть повешенным работала.

Собрав остаток сил в кулак, я все-таки выкарабкался, найдя тактику боя: с отчаянием греб вперед, пока прибой гнал к берегу и с таким же отчаянием держался на месте, когда та же волна откатывалась назад. Отвоевывал шаг за шагом, почти не двигался, но все-таки приближался. И когда ощутил под ногами твердое дно, то понял, что ног не ощущаю.

Хоть жизнь давно стала мне не слишком дорогой, позорно тонуть на людном пляже я еще не собирался.

Оказавшись на берегу, я даже не пошел ополаскиваться пресной водой: доковылял до лежака, занятого с утра моим красным египетским полотенцем, и упал подкошенно, не сменив плавки на сухие.

Я лежал, как пришелец с того света, последние капли сил из меня высосал страх. В тот день я больше не купался, после обеда даже не пошел на пляж. Только пил, пил и пил, возвращаясь к жизни, которая вдруг показалась самоценной.

Наутро, выспавшись и снова ощутив себя бодрым, я усомнился в происшедшем и подумал, что ужасы лишь показались с похмелья. Решив проверить, я зашел в море по плечи и встал там. И сразу понял, что вчерашнее не показалось: каждая волна, возвращаясь от берега, отбрасывала сантиметров на двадцать назад – медленно, но настойчиво.

С тех пор я перестал рисковать. Точнее, не шел на конфликт с морем. Отходил в глубину всего метров на пять от колышущейся в мутных водах толпы и тихо валялся на спине, следя за тем, чтобы меня не отнесло. Или просто стоял по горло в волнах, благо рост позволял, и подпрыгивал на каждом набегающем валу.

С точки зрения мужского самолюбия это, конечно, было полным падением. Я видел, как молодые загорелые парни уходили в море красивыми саженками и возвращались так же легко, ни единым движением не выказывая усталости. И в то же время нельзя было не заметить, что подавляющая часть отдыхающих среднего возраста – включая здоровых, мускулистых мужчин – тоже осознала коварство штормового пляжа и купается, используя плавсредства. Матрасы, стержни из плотного поролона, порой детские надувные нарукавники, едва не лопающиеся на бицепсах.

А один, на вид русский, довольный собой, купался в оранжевом спасательном жилете военного образца.

Заметив авиационный атрибут, я обрадовался. С его обладателем стоило познакомиться, у нас наверняка имелась масса общих тем и даже привычная выпивка могла расцветиться новыми красками. Но через секунду подумал, что на самом-то деле разговоры об авиации вернут в прошлое, кинут к ненужным мыслям, ввергнут в еще более глубокую пучину отчаяния – и подплывать к бывшему коллеге не стал.

Да и вообще в море я вел себя так же, как на суше: оставался сам по себе среди толпы. В вакууме, образованном собственным полем.

Те, с кем я душевно пил: и голландцы, и Кристиан, и уже уехавший Саша и недавно появившиеся молодых хирурги из Челябинска, друзья Володя и Артем – представляли исключение и тем самым подтверждали правило.

Внешне, конечно, никто не мог заподозрить во мне индивидуалиста, мечтающей о Диогеновой бочке.

Я вращался в отдыхающем обществе и ни от кого не прятался. Со мной здоровались многие и я здоровался с целой массой людей.

Но при том оставался одиноким, словно стратосферный зонд, медленно поднимающийся вверх и еще медленнее раздувающийся. Не от уменьшающегося давления, а от пьянства.

* * *

Вот и сейчас я стоял на отмели с закрытыми глазами, раскинув руки в обе стороны – как совершивший аварийную посадку самолет с пустыми баками – давая волне отрывать от дна, поднимать и опускать мое тело.

Мне было хорошо.

Ну… почти хорошо и этого казалось достаточным.

Кругом галдела разноязыкая толпа, переговариваясь между собой отдыхающие, турки приставали к белым женщинам, не смущаясь отказами и проверяя всех подряд.

Не слушать было невозможно, а слушать было почти смешно.

–… И представляете, незадолго до отпуска его привели к нам…

– Да-да.

–…Моложе меня на десять лет. Потом сказали – он родственник главного бухгалтера…

– Да-да.

–…Привели к нам в кабинет и сказали – вот ваш новый начальник, хотя…

–Да-да.

Я открыл глаза.

Передо мной, покачиваясь под ударами воды, переговаривались две соотечественницы из соседнего отеля.

Их «*городской*» пляж, такой же бестолковый, примыкал к нашему, но море там было очищено от донных камней. То, что этих занесло сюда, не удивляло: женщины подобного типа имели вместо ног копыта и могли ходить хоть по камням, хоть по раскаленной крыше, не ощущая неудобства.

Отвечавшая «*да-да*» была незнакомой, а рассказчицу я знал. Точнее, приметил еще в первый день, когда исследовал шельф, несколько раз нырнул, потерял ориентацию и, выйдя из моря, очутился на чужой территории. Причем ошибку я понял по зонтикам: наши состояли из концентрических белых и зеленых полосок, у соседей были радиально размечены в красную.

Эта невысокая плотная дама находилась в моем возрасте или даже его не достигла, но казалась старше из-за крашеной химической завивки – точь-в-точь такой, как у жены Никулина в «*Бриллиантовой руки*», эпохи «*В СССР секса нет*». Она жила в отеле, о чем говорил синий браслет на руке, но на пляж являлась в таком виде, будто только что сошла с дальнего поезда. Все прочие женщины пятьдесят метров от номера до пляжа преодолевали в легких халатах, майках и шортах, прозрачных парео или даже просто в купальниках. А эта приходила в обычном городском платье, которое снимала через голову, страшно мучаясь, поскольку вместе с платьем всегда стремился соскользнуть и купальник. При матроне отдыхали две девицы, сильно похожие на нее: то ли дочери, то ли родные племянницы – лет по двадцати, то есть бывшие чуть моложе моей собственной дочери, которая осталась в прошлом веке. Одна имела кривые ноги и великолепную грудь, другая – исключительной красоты бедра при полном отсутствии бюста, который не мог спасти даже прозрачный купальник. Слепив из двух одну, можно было получить само совершенство. Впрочем, толку бы все равно не вышло: мелко завитая мать блюла девиц и отгоняла не только турок, но даже двух безобидных грузин из «*Романика*», которые в женщинах видели чисто эстетическое удовольствие. О последнем я знал точно, потому что с одним из них, толстопузым Гией, мы однажды разговорились, выпив около бассейна.

Сейчас обе девицы с уксусными лицами колыхались в несвежей пене между матерью и ее собеседницей, обсуждавшими чьего-то бухгалтерского родственника.

Я погрузился с головой, потому что солнце довольно сильно припекало мне намечающуюся лысину.

Под водой все сразу сделалось мутным и невероятно загадочным, ведь я был не рыбой с глазами, приспособленными для такой среды. Мои ноги расплылись, камешки на дне казались живыми существами. И даже зеленые шнурки плавок, грозя распуститься, колыхались, как щупальца морского змея, который обнимал меня нежно и что-то обещал. Обещаниям я давно не верил и поэтому перевязал их натуго, насколько это было возможным почти вслепую и без воздуха.

Еще не вынырнув до конца, я услышал:

–…Йа тееба лу-ублу!

Передо мной покачивался довольно красивый турок средних лет, смуглолицый и белозубый.

Видимо, отчаявшись найти кого-то на поверхности, он принялся искать под водой. И увидев сверху мою фигуру, заранее занял стойку, готовый выпалить ключевую фразу. Окажись на моем месте самодостаточный пивник с якорной цепью на бычьей шее, и белым зубам бы не поздоровилось, но мне стало жаль страдальца. Ведь я тоже же сих пор кого-то искал, причем наверняка куда более безнадежно.

– Leider, ‘ch bin keine Maedchen, – довольно дружелюбно ответил я.

И, дополняя слова, похлопал себя по тем местам, которые приличные женщины тут все-таки обычно прикрывали.

Турок, вытаращил глаза, потом рассмеялся и проговорил что-то, горячо и быстро-быстро.

То ли извинялся, говорил, что ошибся, а на самом деле не имел в виду дурного. Или просто жаловался на жизнь, вынуждавшую ловить женщин в грязной прибрежной воде, где брезговал купаться мой собутыльник и почти друг Кристиан. В речи искателя несколько раз промелькнуло слово «*алла*»: скорее всего, бедняга божился. Турецкий был одним из немногих языков, на котором я не знал ничего, кроме «*сабуну юк*» – то есть «*мыло кончилось*», о чем постоянно приходилось жаловаться горничным – но общий смысл я понял.

– Бисмилля ир-Рахман Рахим! – ответил я символом мусульманской веры и снова нырнул.

А вынырнув, не увидел ни ловца жемчуга, ни химической мамаши с ее неутешенными девчонками. То ли меня отнесло волной, то шли унесло их, то ли случилось и то, и другое.

Вместо прежних пловцов и купальщиков передо мной стоял другой турок – не только знакомый, но даже известный мне по имени Ибрагим.

Он носил красную шапку с козырьком; такая в дни моей молодости почему-то обозначалась полуцензурным словом. Волосатый, пожилой, весьма добропорядочный, невероятно загорелый, украшенный седой бородой, он вызывал мысль о сильно похудевшем Хемингуэе. Ибрагим был непрост, он содержал рыбный ресторан «*Интернациональ*» в соседнем квартале, и день-деньской сновал по окрестностям, выискивая клиентов на улице, среди песка, в воде и под водой.

Языка Шекспира Ибрагим практически не знал и это мешало полноценному общению с русскими туристами, среди которых немецким владел один из ста. И, случайно познакомившись со мной в первый день на этом месте, он изо всех сил поддерживал знакомство.

– Привет, как дела? – осведомился турок, вопросительно улыбаясь.

– Спасибо, нормально, – я кивнул.

Ведь у меня в самом деле все было нормально.

По крайней мере, внешне: ежевечерне напиваясь до остекленения, я еще ни разу ничего себе не разбил.

– Почему ты не пришел ко мне вчера? Я тебя ждал.

– Я пил с друзьями, – честно ответил я. – War sehr besoffen…

– Ты мог бы выпить и у меня, – возразил он.

И тут же добавил, покосившись на мой браслет:

– Для тебя, разумеется, это было бы абсолютно бесплатно. Рекламная акция.

Я опять кивнул, Ибрагим опять улыбнулся. В общем из-за первой улыбки: искренней, дружелюбной, заинтересованной, но далеко не заискивающей – я с ним и подружился. Ведь трудно было вспомнить, когда мне так в последний раз улыбались.

Да и вообще, если честно, мало кто улыбался мне так открыто, как турки, причем даже те, которым от меня ничего не требовалось.

–…Ты мог бы выпить и поесть вкусной рыбы…

– Sehr gut, – кивнул я. – Обязательно приду сегодня.

Этот диалог приходил каждый день. Сразу оценив мои знания и способности, Ибрагим приглашал работать у него – служить кем-то вроде зазывалы и переводчика одновременно. Предприниматель до мозга костей, он не только содержал ресторан, но еще организовывал экскурсии, выезды групп на рафтинг и сафари, помогал сдавать машины, наверняка занимался и еще чем-то, не столь широко рекламируемым. Препятствием к развороту во всю ширь служили незнание английского и отсутствие толкового помощника. Он предлагал мне не только бесплатный стол, но и процент с каждого клиента. Сулил золотые горы – зная срок путевки, спрашивал, когда заканчивается мой отпуск и обещал устроить еще на две недели в собственных апартаментах, с условием, что я буду целый день находиться при его ресторане и обрабатывать публику.

Я соглашался; спорить было бесполезно, да к тому же льстил факт, что меня, никому не нужного на родине, оценил случайно встреченный деловой турецкий ресторатор. Я чувствовал, что Ибрагиму страшно хочется заиметь меня в качестве менеджера. Если бы он знал, что я еще пою на пяти языках и почти профессионально танцую, когда-то занимавшись в студии – но не догадывался, что пью, как бочка – то, наверное, увел бы меня с пляжа и посадил на цепь у себя в ресторане; поскольку второго такого «*помощника*» не нашел бы, даже пройдя побережье хоть до Ливанской границы.

Но мне не хотелось работать – даже в нынешнем состоянии, даже исходя из таксы в пять евро за каждую русскую голову. Я приехал сюда отдохнуть, вернуть себе силы перед очередным броском в черную пучину жизни, развлечься и забыть обо всем.

Ибрагим мне нравился и, хотя наверняка, как всякий приличный турок, не брал в рот спиртного, с каждым днем все больше напоминая старого пьяницу из Ки-Уэста, которого я читал мало, но уважал за некоторые высказывания. И время от времени ко мне приходила дельная мысль о том, что можно сначала отдохнуть, а потом и поработать.

Я не сомневался, что работа пошла бы хорошо. Ведь, пожалуй, больше всего на свете я любил поесть и выпить, особенно когда за это не приходилось платить явным образом. А что касалось обязанности надувать на английском языке «*руссише туристен*», то этим бы, пожалуй, я занимался бы с истовым самоудовлетворением: не для того, чтобы обогатить Ибрагима, а из вредности. Страна Россия выбросила меня на обочину, имманентной приязни к соотечественникам лишь потому, что они -соотечественники, я не испытывал и добросердечным быть не собирался. Сам себя гражданином своей родины я не ощущал, меня никто нигде не ждал и я мог бы навсегда остаться в Турции.

Конечно, это относилось к области фантастики, но в моей ситуации любой бы строил замки из соломинок.

Поэтому я каждый день обещал Ибрагиму прийти «*сегодня вечером*», чтобы он не передумал меня нанимать.

– So bis zum Abend! – сказал турок.

– Bis zum Abend, abgemacht, – успокоил я.

Мой вероятный босс, пока еще почти приятель, козырнул и пошел дальше по воде вдоль берега.

Я тоже пошел – но к берегу, не без труда разводя перед собой волну.

Мои руки-крылья устали.

Баки и в самом деле были пусты, им срочно требовалась дозаправка.

Ждать воздушного заправщика здесь не приходилось я был вынужден разворачиваться на базу.

* * *

Баров в «*Романике*» имелось несколько и работали они в разное время.

Сам отель был небольшим: построенный на рубеже восьмидесятых в вычурном псевдоримском стиле – красном с белой лепниной – и расширенный новым корпусом, бетонной коробкой для обуви, он насчитывал не больше ста номеров. А постояльцев тут насчитывалось сотни полторы, в то время как в иных отелях счет шел на тысячи.

Штат обслуживающего персонала соответствовал масштабам; имелось всего два ночных портье, чередовавшихся посуточно, и один дневной, которого раз в неделю заменял кто-то из ночных. Привратник, никогда не сидевший у ворот, украшенных парой уродливых львов из поддельной бронзы, по совместительству служил боем. Охранник – приятный невысокий турок, с гладко выбритой большой головой, чернотой похожий на негра, по вечерам обслуживал бассейн: рассыпал чистящие гранулы, через некоторое собирал осадок со дна водяным пылесосом.

Сам этот бассейн, протянувшийся между старым корпусом и стеной недостроенного соседнего отеля, составлял почти всю внутреннюю территорию. Кроме него тут имелись лишь зеленая полянка прудом и горбатым мостиком у входа, да мощеный пятачок перед эстрадой, ограниченный флигелем старого корпуса.

Кроме негритянской внешности, охранник имел белую Баскервильскую собаку: коротконшерстную, похожую на дога, но не слюнявую. Собака постоянно находилась при хозяине; когда добродушный турок перемещался по территории, она трусила следом, склонив большую умную голову и с достоинством помахивая хвостом. Правда, ночью она работала всерьез: посаженная на цепь, сторожила на пляже ларек Шарифа. Постояльцы собаку боялись, вокруг нее всегда образовывалась пустота, но без привязи она была само добродушие и ко мне всегда ластилась – ложилась на бок и поднимала лапу, прося почесать живот.

Барменов тоже насчитывалось ограниченное количество, что для меня представляло факт чрезвычайного значения.

Ведь на отдыхе составляла основу моего бытия. Конечно, то же самое было и в России но за рубежом привычное наполнялось иным смыслом, причем не только потому, что там приходилось платить за каждую бутылку, а здесь по единожды предоплаченной путевке можно было пить до опупения. Кроме того, возникала проблема: в каждой стране находился лишь один вид местного напитка, пригодный для регулярного неумеренного употребления.

Я не любил пива в России и никогда не пил его в жарких странах: от него мне становилось плохо. В жару я мог употреблять только крепкие напитки, поскольку повышение внутреннего градуса уменьшало разницу с внешним и делало более комфортным пребывание. В Египте, например, я литрами лил в себя джин – и когда питоки вин обливались пОтом, как вытащенные из моря рыбы, оставался бодр и весел при шестидесяти градусах в кружевной тени финиковых пальм.

Турецкая выпивка не дотягивала даже до египетской, не говоря уж о российской.

Когда в один из первых дней добрый Кристиан по своей инициативе принес мне стакан местной анисовой, я его тепло поблагодарил за заботу, но сказал, зная, что он не поймет смысла слов:

– Если это водка, то я – кантор из Одесской синагоги.

Ему, конечно, можно было простить: я знал, что человеческой водки нет даже в Германии, а уж о Польше не стоило и говорить.

В Турции в любом отеле имелся джин. Но по «*всё включенной*» системе не предлагали ни «*Гордонса*», ни «*Кроун Джуэла*», ни «*Бифитера*», а наливали можжевеловую водку местной выгонки. Эта «*джин*» пах химией, после каждого глотка оставлял во рту какое-то прачечное послевкусие, а в ноги ударял неожиданно. Года три назад мы с женой, еще почти счастливые друг другом, отдыхали под Сиде в неплохом «*закрытом*» отеле «*Клуб лунной красоты*». Правда, Луны там я не заметил, запомнились только тучи крошечных летучих мышей, которые вечерами кружились над дорожками и нежно задевали нас бархатными крылышками. В

этом «*Клубе*» я однажды, совершенно незаметно, напился джином так, что кровать в номере нашел с десятой попытки, утром оказался весь в синяках, а жена не разговаривала со мной до самого отъезда.

В «*Романике*» я нашел турецкое бренди неожиданно высокого качества: довольно крепкое, но приемлемое. Его я употреблял весь день и прекращал процесс, лишь почувствовав, что мне лень дальше пить.

Бренди я пил стаканами – обычными стаканами, в которые другим туристам наливали сок.

Во всех отелях меня всегда утомляла необходимость объяснять каждому бармену, что крепкое спиртное я употребляю без льда, тоника, кока-колы и еще чего-то подобного, убивающего смысл хорошей выпивки. Но здесь мне повезло: меня запомнили и уже на третий день молча наливали мне чистого бренди, сразу три четверти стакана.

Меня тут приняли легко даже в ночном баре, где бесплатная выпивка – мягко говоря – не приветствовалось. Я не раз видел, как при появлении русских бармен молниеносно прятал под прилавок бутылки с местными напитками, после чего пришедшим оставалось или развернуться или доставать кошельки, а мне наливали без неудовольствия. Более того, я стал своего рода достопримечательностью: ни один другой турист не пил так много и такими дозами, оставаясь внешне трезвым. Непьющие турки поражались и восхищались мною.

Хорошо относился ко мне даже один из поваров – здоровенный турок в черном пиратском платке, напоминавший индейца Стивена Сигала в лучших ролях. Его звали Осман – я выяснил это в первый день и стал обращаться к нему «*Осман-бей*»; уважительная прибавка к имени не стоила ничего, а человек испытывал благодарность и ее даже не скрывал. При раздаче горячих порционных блюд, случающихся на «*шведских*» столах, всегда давал мне самые прожаренные колбаски бараньего кебаба. А один раз, послав недобрую усмешку в сторону моих соотечественников, которые обращались с турками, как с говорящими обезьянами, положил мне на тарелку не мусорную зеленушку а невесть как сюда попавшую дораду.

В «*Романике*» меня не любил лишь один бармен, вкрадчивый очкарик с приторной сладкой улыбкой. Он наливал мне всегда на один палец, хотя и не отказывался повторить процедуру три-четыре раза в процессе обеда. Но когда ходил между столиков, собирая пустую посуду, всегда старался выхватить недопитый стакан у меня из-под носа. Не думаю, что бренди использовалось вторично; при мне много раз открывали новую бутылку. Вряд ли он боялся и моего буйства: без диплома психолога можно было понять, что я безопасен, словно авиабомба с вывинченным взрывателем. Им явно двигала личная неприязнь.

Я не мог понять, чем вызвал такое чувство: скорее всего, нечастный сильно не любил немцев и видел во мне одного из них.

Ведь за соотечественника меня тут принимали даже немцы, которые приехали не из Саксонии, где я выучился говорить с неподражаемым произношением.

* * *

Сейчас судьба оказалась благосклонной.

Видимо, день рождения, хоть мне и не нужный, что-то сдвинул в небесах – по крайней мере, на одни сутки.

В баре под бананами, где я заправлялся днем, дежурила крошечная турчанка с детским личиком, пухлыми губками и горящими глазами. Я обращался к ней на немецком, пока не выяснил, что она не понимает слова «*reine*». По-английски она тоже знала лишь минимальный минимум, что не мешало мне при каждом подходе обращаться к ней как «*my best beloved*», «*my everything*» и даже «*a flour of my soul*». Девушка мне в самом деле нравилась; она была

маленькой и трогательной, полностью соответствовала моему вкусу. Казалось, ее можно посадить на ладонь и нести десять километров.

Но я даже не пытался завести с нею отношения. Для турчанки я оставался лишь старым тощим немцем, бездонным поглотителем бренди и больше никем.

Она наливала мне быстро и много, этого было достаточно.

Вот и сейчас, увидев меня, она блеснула из-под ресниц, и мне остро подумалось, что не найдется сущности, которой я не отдал бы за один раз, когда этот блеск предназначался для меня единственного и неповторимого. Хотя, конечно, ее бы не нашлось, поскольку я уже ничего не имел.

Я улыбнулся без слов; в этот раз их почему-то не нашлось. Маленькая турчанка сверкнула глазищами еще раз и так же молча подала мне полную порцию. Улыбнувшись еще ослепительнее, я поднял два пальца. Девушка кивнула, достала второй стакан, подняла бутылку, оценила остаток и полезла под стойку за новой. Я невольно посетовал на хозяев «*Романика*», облачивших служащих в форму, которая не позволяет увидеть ничего существенного, даже когда женщина наклоняется до земли.

Хотя, конечно, два стакана турецкого коньяка компенсировали отсутствие визуальных радостей, да и красотой бюста малышка не отличалась. На пляже я за одну минуту мог обозреть десять или двадцать куда лучших в почти натуральном виде. Но с другой стороны, любая новая радовала не меньше первой из увиденных. А некрасивой женская грудь не могла быть в принципе; во всяком случае, видев их двести тысяч пар, некрасивой я еще не обнаружил.

Раздумывая о таких жизненно важных вещах, по-обезьяньи держа в каждой руке по стакану и стараясь расплескать себе на шорты не слишком много, я шагал к бассейну.

Вечером я пил у бананового бара или на площадке перед эстрадой, скромно сидя за столиком. Но днем позволял себе отрыв по полной программе.

Ведь все последнее время я жил, чтобы пить – и пил, словно жил.

Я смутно догадывался, что можно допиться до смерти: то есть выпить столько, чтобы уйти в небытие и оттуда не вернуться. Вероятно, это было бы для меня высшим благом – но, увы, до сих пор мне этого еще не удалось. Но я не терял надежды, пил, пил и пил.

Я бы пошел с коньяком на пляж, занял лежак в ближнем к морю ряду и принял дозу, глядя на пенистый прибой. Но идти пятьдесят метров под палящим солнцем казалось слишком серьезным испытанием даже ради пьянства.

Поэтому я заправлялся прямо здесь, не выходя за ворота с фальшивыми львами, но обставив процесс с максимальным комфортом.

Прошагал вдоль бассейна, по сторонам которого стояли лежаки с зонтиками, почти все занятые потными полуголыми телами. Как ни странно, находились люди, которые приезжали в Турцию, но пренебрегали морем и целыми днями плескались в ненатурально голубой от кафельных стенок воде. Правда, тот же Кристиан утверждал, что Средиземное море с самолета на сто метров вдоль берега – желтое от продуктов человеческой жизнедеятельности, а бассейновая вода у турок, каким-то образом избегающих хлорки, является практически натуральной. Возразить на это я не мог ничего, поскольку в последний раз посещал бассейн при начале последней четверти прошлого века, когда сдавал нормативы первокурсником ЛИАПа – и при том едва не утонул. А что касалось всего остального, то в кафельной лоханке плескались точно такие же люди, как и в море. Но выпить бренди, стоя по плечи в воде около бортика, как у стойки бара – найдя оптимальное место у гидромассажной форсунки, которая ласкала самые чувствительные места моего тела невидимыми пальцами – я любил. И наслаждал себя процессом ежедневно.

Иногда мне удавалось расцветить даже это, и так яркое удовольствие. Все зависело от того, кто в этот день был назначен к бассейну собирать тарелки из-под разогретой заморозки «*картофель фри*», безмерно пожираемой детьми. Сегодня продолжалось везение: работал не

мой очкастый враг, а другой бармен – добродушный турок, который каждого русского спрашивал приятным голосом:

– Как дьела? карашо?

Этот был столь симпатичным, что перед ним я не строил немца и ответил просто:

– Карашо. И еще как.

На самом деле сегодня было карашо, я мог делать все, что заблагорассудится, не опасаясь за свой бренди. А благорассудилось мне в общем не так уж и много.

Я аккуратно поставил стаканы на свободный столик между двух занятых лежаков и пошел к водяной горке.

В «*Романике*» она была хорошей – не большой и не маленькой – с удобной лестницей из желтых ступеней, ведущей туда из кустов розового рододендрона. Вообще турки следили за территорией, она казалась вдвое, если не втрое больше против реальной, Крошечный прудик был живописно украшен египетским папирусом, в зеленой воде плавали золотые рыбки, а на берегу сидели блестящие черепашки. На очень ухоженной лужайке росли пальмы и туи, улица отделялась гибискусом двух цветов и какими-то кустами неизвестного мне наименования. Сама горка была детской; угол ската не превышал тридцати градусов, я мог бы въехать на нее на машине, причем со второй передачи. Но спуск доставлял удовольствие, с нее с одинаковой радостью скатывались и едва научившиеся ходить младенцы, и подростки, и взрослые мужчины с женщинами.

Поднявшись, я постоял на площадке, давая солнцу со всех сторон полюбоваться мною, потом съехал по желтому желобу, обрушился в голубую воду, разогнав кучу детей, которые только того и ждали, чтобы на них с неба упал взрослый дядька.

Мой польский друг, конечно, оказался прав; вода в бассейне была мягкой, ничем не пахла, не разъедала глаза солью. Когда-то в России дикарей обзывали «*турками*», сегодня эти «*дикари*» научились делать все, что нации ломоносовых и не снилось. Рядом со мной скромно обнималась молодая парочка, не обращая ни на кого внимания. Детям, колышущимися на надувных кругах, не было до них дел, тем более, что на территории женщины не ходили с голой грудью.

С приятной натугой преодолевая сопротивление воды, я подошел к стенке бассейна. Место около сладострастной форсунки было свободно, чужие тела плескались где-то посередине, к краям никто не жался.

Неподалеку блестела алюминиевая лестница, напомнившая трап бомбардировщика, выброшенный из пилотского люка.

Я ею не воспользовался, я был еще крепок и почти силен.

Подтянувшись на руках, я оттолкнулся от дна, легко подбросил свое сухое тело и оперся коленом на борт. Я не пытался перед кем-то красоваться; я знал что мною тут никто не интересуется. Не хотел я ничего доказать и кому-то из распившихся парней, которые вылезали только по ступенькам, дрожащими под их тяжестью.

Я даже не хотел сказать сам себе: «*Женя, ты еще не умер, значит ты пока жив*».

Просто мне так было удобно.

Я выбрался на сушу; печатая мокрые следы, прошел к столику, где оставил горючее, взял стаканы и переставил их на каменный поребрик борта как раз в том месте, где намеревался отдаться нескромным ласкам турецкой воды. Бренди нетерпеливо подрагивало, прося себя выпить, но я тянул время: с некоторых пор ожидание наслаждения стало наслаждать меня сильнее, чем оно само.

Обойдя бассейн, я снова поднялся на горку, пропустил вперед себя трех по-синичьи щебечущих девчонок и съехал вниз. Вошел в воду ногами вперед, не всплывая перевернулся под водой совершил несколько рывков вперед под разноцветьем купальных трусиков

Увидев под собой синие меандры, выложенные турками для того, чтобы скользящий над голубым кафелем дна пловец понял, что через метр ударится лбом о вертикальную стенку, я вынырнул на поверхность и нашел себя у края.

Мои стаканы стояли в сохранности; бармен, у которого все было карашо, никогда не портил чужой праздник.

Мой рост, относительно немаленький, все-таки не позволял комфортно облокотиться на борт. Висеть на локтях было тоже неудобно, поэтому я просто стоял, вода доходила до подмышек, но это не мешало мне пить. Я придвинулся поудобнее к форсунке и протянул руку за первой сегодняшней дозой.

Сверху надо мной кто-то шел к горке, кто-то откуда-то возвращался, кто-то стоял в позе Христа из Рио-де-Жанейро, спустившегося с вершины.

А прямо напротив на поднятом шезлонге сидела женщина с дешевым детективом и коленями потрясающей красоты. Конечно, женские колени редко казались некрасивыми, но у этой они отличались приятным размером, идеальной полушаровидной формой и блестели под солнцем – то ли щедро намазанные кремом, то ли сами по себе. Я посмотрел влево, потом и снова уставился снизу вверх на свою визави. Она почувствовала взгляд, опустила книжку и взглянула на меня. Улыбнувшись, я отсалютовал ей стаканом; не имелось ничего странного в том, что почти пожилой одинокий мужчина, попивая в бассейне турецкий коньяк, смотрит на женщину и приветствует ее просто так. Она тоже улыбнулась, переложила ноги по-другому и снова ринулась в криминальные похождения какой-то очень умной дуры.

Она была счастлива и самодостаточна, каковой не могла не быть женщина средних лет, находящаяся в беззаботном отдыхе у бассейна. Особенно при условии, что на соседнем шезлонге лежало точно такое же красно-сине-зеленое полотенце, как и то, на котором раскинулась она.

Подтверждая догадку, к ней подошел мускулистый мужчина моих лет и поставил на столик два стакана кока-колы. С это парой было все ясно.

Я осушил стакан почти залпом.

Первый стакан бренди, с которого стоило начинать ненужный день рождения в кругу не принадлежащих мне красивых женщин.

Жара быстро сделала свое дело. Я еще не успел допить до конца, как по телу побежала теплая волна, а в голове шевельнулись разнеженные мысли.

Женские ноги я любил так же… ну, может быть, почти также, как женскую грудь. И, кроме того, любил женский живот и женский зад, и перед тоже. Любил в женщинах все, что лежит ниже плеч, поскольку, как много раз подтвердила жизнь, лежащее выше могло все перечеркнуть.

И мною сейчас владело то, что оставалось ниже пояса. Это казалось абсолютно нормальным; только дурак, нежась в бассейне, мечтал поговорить с обладательницами полуголых тел о дуализме и детерминизме в этике Аристотеля.

Это оставалось единственным занятием в день рождения, когда нормальные люди подводят итоги года и в очередной раз удостоверяются в достойности своего бытия. Ну, по крайней мере, собирают вокруг себя людей, считающихся друзьями, которые исправно едят и пьют все, что им предложили, и наперебой говорят хозяину, какой он хороший человек.

Я поставил стакан на камень, он стукнул сомнительно.

Женщина с красивыми коленками безмятежно читала пустопорожний детектив про Каменскую, ее спутник не торопясь щелкал зажигалкой.

А вот был ли я хорошим человеком? В этом стоило усомниться: мне не удалось вспомнить хоть что-то хорошее, сделанное мной кому-то.

По всему выходило, что человеком я был плохим.

Но и плохого я тоже не делал никому – по крайней мере, в последние годы.

Зато мне эти годы все делали только плохое.

Хотя какая была разница, хороший я или плохой – это ничего не могло изменить в моей жизни.

А вот второй стакан бренди – мог, и еще как.

Еще сильнее смог бы третий, четвертый, пятый.

Но за ними пришлось бы возвращаться в бар – вылезать из бассейна, идти по солнцу… Этого не хотелось, я уже расслабился и потому отпил лишь половину. Ее в пока хватило; хмель запрыгал во мне вверх и вниз и из стороны в сторону.

Все ненужное отодвинулось, все вредное, черное и даже серое ушло из памяти.

Вокруг меня было ярко и светло.

Колыхалась голубая вода.

Брызгались дети, обнимались парочки, обсуждали насущности толстые российские матроны.

На площадки около эстрады гремела музыка, аниматоры собирали команду для игры в мячик, которую каждый день устраивали в мелкой части бассейна

Я был среди них и сам по себе – тут и не тут, везде и нигде.

Выпивка подняла меня на крылья и я куда-то летел – отрешенный и почти счастливый.

– …Хай, Ойген!

Веселый голос раздался сзади. Я обернулся.

Вдоль края бассейна шагал татуированный Дик с обнимку со своей Симоной.

– Хай, Дик! Хай, Симона! – ответил я, приподняв стакан. – Прозит!

– Bis zum Abend! – не спросил, а радостно сказал голландец.

– Jawohl! – подтвердил я.

Симона лучисто улыбнулась, подняла руку и пошевелила пальцами, приветствуя меня.

Я посмотрел ребятам вслед; черноволосая девушка Дика была слегка беременна. Наметившееся материнство светилось в ее фигуре.

–…Хай, Юджин!

Мое интернациональное имя допускало разные варианты. Поляк Кристиан звал меня «*Евген*». Дик обращался классическим немецким Ойгеном. Для Лауры, употреблявшей только английский, я был «*Юджином*». Меня это не напрягало, а забавляло. Я имел три, если не четыре лица и был един в ипостасях.

Я повернулся в другую сторону. Лаура шагала впереди, я отметил, что если роста в ней было сто восемьдесят пять сантиметров, то два метра составляли конечности. Хербен еле поспевал за ней и выглядел непраздничнo в затрапезной бейсболке цвета хаки. Имей я девушку с такими ногами, то от счастья не бежал бы за ней, а летел по воздуху.

– Хай, Лаура!!!

Кажется, я крикнул слишком громко и радостно. Девушка остановилась.

– Хай, Сток!

Друзья звали Хербена «*Стоком*», только я забыл, что это означало по-голландски: просто «*длинный*», просто «*тощий*» или то и другое.

– Матка Боска! – Хербен просиял.

Точнее, превратился в одну сплошную улыбку.

Лаура послала мне красивый воздушный поцелуй и поспешила дальше. Для того, чтобы достигнуть угла корпуса и свернуть к мостику, ей понадобилось не больше трех шагов.

Так все-таки… хорошим я был человеком, или плохим?

Четверо молодых голландцев увидели меня в бассейне, окликнули, улыбнулись и помахали руками с мыслями о грядущем вечере. А пить мы собирались не на мои деньги и не на моей территории – как пили и ели когда-то те, кого я по дурости считал своими друзьями в России. Ребятам просто было хорошо рядом со мной. Как хорошо было и Кристиану, и Саше,

и даже его кореянке, сидевшей с нами. Да и Ибрагим выбрал меня, хотя наверняка тут имелись другие русские, владеющие и немецким и английским.

Наверное, все это о чем-то, да говорило.

И для людей посторонних я был не плохим человеком, а хорошим.

При всей глупости, недостойной сорокавосьмилетнего русского мужчины, мысль согрела.

Я вылил в себя остаток бренди.

Потом окунулся с головой, наслаждаясь объятиями ласковой воды.

Затем опять легко подтянулся на край бассейна.

До обеда оставался час или чуть больше.

Я осуществил аварийную заправку. Но горючего пока недоставало: лампочки погасли, однако стрелки указателей стояли на нулях. Мне требовался повторный заход.

Тем более, бог любил троицу, а пустых стаканов стояло всего два.

* * *

-…Хай, френд!..

На обратном пути от бананового бара, где милая девочка опять налила доверху, меня остановил молодой вертлявый турок.

Это был местный аниматор по имени Пиноккио. Точнее, он имел такой ник, а как его звали на самом деле, никто не знал и даже не интересовался.

Аниматоров – то есть, говоря советским языком, массовиков-затейников – в маленьком «*Романике*» работало целых три.

Заморыш Пиноккио, самый активный и креативный, тонким носиком действительно напоминал ожившего Буратино. Второй, «*Чача*», служил на подхвате, был смуглым, курчавым и коренастым. Третий – с длинным белесым хвостом и весь в пирсингах – имел вид тихого наркомана; ни одного человеческого языка он не знал и участвовал в шоу, как немая рыба, которую почему-то назвали библейским именем Каспер.

А шоу эти были самыми разными.

Например, в один из вечеров команда решила показать со сцены, как представители разных наций справляют малую нужду. Всего я не разобрал, но русский мочился струей чистой водки: это было ясным по тому, как напарник принял наполненный стакан – а из чукчи сыпались кубики льда. Со стаканами и горшками скакал Пиноккио, а чукчу изображал, конечно, Каспер.

Аниматоры не помнили моего имени: я не был белокурой девушкой, которой можно бесконечно повторять «*иа теба лублу*» – но мы общались каждый день.

Ведь я стал достопримечательностью отеля не только благодаря титаническому пьянству.

* * *

В первый мой вечер для постояльцев устроили караоке. В русском варианте: вероятно, ни у немцев, ни у голландцев, ни у поляков, эстонцев и прочих цивилизованных наций, заселивших наш ковчег, это неумственное развлечение не было в чести.

Мои соотечественники один за другим выходили на сцену и пели дикими голосами одни и те же шлягеры. Это звучало даже не кичево, а пошло, но исполнители оставались страшно довольны собой – то есть техникой, обрабатывающей их несуществующие голоса – а слушатели хохотали и ревели от восторга.

К тому времени я уже принял пару стаканов после ужина и сидел втроем с Сашей и его кореянкой: Кристиан к нашей компании не примкнул, мы даже еще не были знакомы.

В какой-то момент я понял, что больше не в состоянии слушать звуковое кривляние и встал, чтобы пойти за следующей дозой.

Пиноккио, у которого поток иссякал желающих, решил, что я собрался петь – закричал обрадованно, приглашая на сцену.

То есть я тогда еще не знал, что это именно Пиноккио – просто обернулся на голос, зовущий ломаными русскими фразами. К туркам я относился хорошо, ни один из них за всю жизнь не сделал мне ничего плохого, даже с вредным барменом меня еще не свела судьба. А тощий востроносый парнишка так отчаянно махал руками, что я не мог противиться – почти твердыми шагами прошел к эстраде и довольно легко на нее взобрался.

Обрадованный, аниматор сунул мне микрофон.

Я отвел его руку, жестом попросил выключить акустику.

Во внезапно обрушившейся тишине – столь полной, что слышалось падение капель воды с выключенной горки, которая находилась у противоположного конца бассейна – я встал на край сцены и распахнул объятия, как певец Муслим Магомаев на «*Голубом огоньке*» моего детства.

У меня был сильный голос с нормальным диапазоном. В студенческие времена пели все и всё, только большинство моих приятелей работало под гитару. Я же, несмотря на старания, этим инструментом не овладел. Поэтому всю молодость просто совершенствовал свой голос, в результате мог петь и под аккомпанемент и в созвучии с другими, и чисто *a capella*.

И сейчас, разведя руки, желая обхватить всех сидящих внизу – на самом деле балансируя, чтобы не упасть с высоты на бетон – я запел «*Южную ночь*», прекрасно подходящую под мой голос.

– Эта южная ночь – трепет звезд, серебристо хрустальный,
Эта южная ночь – душный пряных цветов аромат…

– сладостно до судорог выводил я.

На самом деле и я, и тем более автор слов, сильно грешили против истины. В Турции, как в любой жаркой стране, цветы экономили влагу и практически не пахли ни днем, ни ночью. А если все-таки пахли, то концентрировали аромат в такой малой окрестности, что уловить его можно было лишь коснувшись лепестков лицом.

Но сама ночь существовала.

Южная, темная, обещающая.

И слова о пустом бокале и близости, которая была так близка – немудреные, они очень точно падали в душные души моих слушателей, распаленных этой ночью, югом, близостью друг друга, уже испытанной и обещавшей повториться.

Ночь была черна, но на сцене сияли огни, почти так же ярко горели витрины открытых до двадцати трех парикмахерской и мелочной лавки, светились окна цокольного холла, где устраивались на вечер те, кому мягкие диваны нравились больше, нежели пластиковые стулья около бассейна. Пространство перед эстрадой было достаточно освещено и я пел, наблюдая за лицами.

Меня слушали мечтательно, восторженно, влюбленно.

Разумеется, никому не было дел до моей личности, моей жизни со всеми проблемами и всего прочего, касающегося меня. Просто я достаточно хорошо пел и прекрасный романс, созвучный с трепетным курортным настроением, создавал резонанс в их размякших от нежностей душах. Тем более, я немного изменил оригинальный ритм, усилил характерные акценты, сделал более выразительными синкопы, и сейчас под мое исполнение можно было танцевать танго – по крайней мере, в уме.

Но в один момент я поймал на себе ненавидящий взгляд. Не отвлекаясь, сконцентрировал внимание и увидел, что на меня смотрит какой-то приземистый тип лет двадцати пяти – похожий на турка, но не турок, черноволосый, с неприятной узко выстриженной бородкой. Я удивился, но тут же понял причину: он сидел, обнимая сразу двух девиц, а те таяли от песни – точнее от моего голоса, поскольку вряд ли понимали хоть слово по-русски – восторженно смотрели на меня и прихлопывали руками. И это, конечно, не могло радовать козлобородого.

Когда я завершил, взяв в коде на квинту выше положенного и аккуратно дав ноте угаснуть под звуки дальней капели, публика секунду безмолвствовала, потом захлебнулась в аплодисментах. Но я трезво понимал, что они адресованы в общем не мне.

Хлопали, прежде всего, самому романсу – автору строк и композитору, уложившему их на музыку. И вряд ли стоило ожидать, что сейчас на меня обратит внимание одинокая женщина с красивым… чем угодно… и отдых мой взметнется на ожидаемую высоту.

Поклонившись на все четыре стороны – точнее, всего на три, поскольку за спиной была глухая стена соседнего отеля – я шагнул назад, чтобы спуститься на землю и шагать наконец за очередным стаканом.

Но Пиноккио остановил за локоть и попросил спеть еще – жестами, потому что все языки, кроме турецкого, забыл от изумления. Вероятно, мой выход понравился ему всерьез. Я не стал ломаться: бренди могло подождать, а петь я любил до сих пор – и исполнил еще пару вещей на русском языке, одну на немецком и одну на испанском, который мне казался наиболее подходящим для романтических переживаний не непонятном наречии. Слушатели аплодировали с каждым разом все громче, мой репертуар не знал границ, и я мог бы ублажать публику до утра с минутными перерывами для заправки спиртным.

Должно быть, мог даже попросить кого-то приносить мне коньяк и принимать стаканы из рук в руки, не сходя со сцены.

Все-таки в нужный момент я остановился, даже выкрикнул в пространство – *«а теперь – дис-ко-те-ка!»* – и, провожаемый овациями, пошел под бананы праздновать победу. И там очень удачно познакомился с голландцами.

С того вечера аниматоры поняли, что нечаянно раскопали клад. Ведь всех прочих туристов им приходилось увеселять, стоять на голове и прыгать ногами вперед через собственный зад. А я по существу был одним из них. Сеансы караоке шли в «*Романике*» каждый вечер именно перед дискотекой, детской или взрослой. И всякий раз, дав накричаться безголосым любителям пения, турки выключали аппаратуру и, найдя меня – для чего порой им приходилось спуститься в народ – звали себе на смену.

Пока я работал, они отдыхали: сидели в проеме между раскрашенным задником и бетонной чужой стеной и стаканами глотали слабую турецкую водку, которую им регулярно приносил на подносе бармен.

А я, стоило честно признаться, испытывал нешуточное моральное удовлетворение от иллюзии собственной востребованности. Пусть не теми и не так, но ощущал небезразличие к своей персоне.

Я пел для публики с удовольствием – сначала несколько самых любимых, которых ждали каждый вечер и встречали заготовив аплодисментами с первых звуков, потом одну или две новые.

И в эти минуты мне казалось, что еще стоит жить.

* * *

– Хай, Пиноккио, – ответил я, остановившись.

– Wird du singen ein Bissen Heute Abend?

– Als immer, – я кивнул. – Keine Problemen.

Пение по вечерам мне в самом деле не представляло проблем, а публике нравилось.

Нравилось прежде всего тем безымянным, не мною познанным женщинам, которые умственно были моими, пока я пел.

Вознося к небесам вечную молитву Окуджавы, я верил, что зеленоглазый бог не забудет и про меня, хотя сам не собирался в него верить.

Кроме того, я видел, как Чача – старший и наиболее рассудительный, если такой эпитет был применим к шуту аниматору – снимает каждое мое выступление на видео. И догадывался, что запись счастливо найденного таланта будет приложена хозяину отеля по окончании сезона как аргумент в свою пользу при подсчете жалованья.

В общем, иной человек мог завидовать мне – звезде отельного масштаба.

Меня узнавали все, хотя почти никто не знал моей национальности.

Со мной здоровались аниматоры, бармены, охранники, горничные, некоторые постояльцы…

Я чувствовал, что не просто стал достопримечательностью «*Романика*». На короткий срок я сделался неотделимой частью этого отеля – вроде колонны, поддерживающей крышу ресторана. Мог сравниться даже с гипсовой фигурой римского не то воина, не то патриция без одной руки, стоявшей на террасе перед торцевым фронтоном – даром, что у меня еще обе оставались на месте.

Я пел.

Я пил.

Пил и пел, пел и пил.

Я каждый вечер проводил с голландцами, болтал с ними обо всем на свете и к ночи напивался почти до тыку.

Без поляка Кристиана не обходилось ни одно начало питейного застолья после ужина.

Я общался с немцами, которых здесь было много.

Общался с турками: охранник с радостью давал мне погладить собаку, Ибрагим ежедневно отыскивал меня в мутной толчее пляжа.

Время от времени общался с отдельно взятыми соотечественниками –Саша уехал, его место заняли хирурги Володя и Артём.

Второй поражал меня новой девчонкой каждый день, а первый иногда присоединялся к нам с Кристианом за ранним столиком перед эстрадой и даже приносил мне начальный стакан после ужина. Оба годились мне в сыновья и упорно называли меня на «*вы*», хотя и без отчества.

Я находился в кипучем водовороте людей.

И в то же время был абсолютно одинок.

Одинок, как…

Даже не как метеозонд, достигший разреженных слоев стратосферы

Как астероид, летящий невесть куда в черном пространстве пустого и равнодушного космоса.

V

Отправляясь сюда, я был уверен на сто процентов, что турецкий отдых использую по всем пунктам программы.

Сидя в самолете, провонявшем мочой «*Ту-154*» – иных машин из нашего убогого города в Анталью не ходило – я сладостно думал об ожидающем впереди.

О том, что могло мен ждать, говорили многочисленные женские колени, молчаливое сияние которых я оценил, пробираясь к своему ряду, одному из последних. Любая пара увиденных женских ног могла оказаться со мной в одном отеле, на том же самом пляже, на соседнем лежаке – и в это хотелось верить.

В салоне стояла сырая перегретая духота: экипаж включил наддув, но на земле насосы гнали горячий воздух, как десяток парикмахерских фенов. Стюардессам запрещалось ходить с голыми ногами, им было жарко в колготках телесного цвета, и когда одна из них нагнулась ко мне проверить ремень, я ощутил аромат влажной ложбинки, темневшей в запАхе голубого форменного жакета между краями белого бюстгальтера. Это, конечно, мне не могло предназначаться при любом раскладе, но радовало абстрактным фактом существования и реакцией моего тела на все женские части.

Я жалел лишь о том, что не смог полететь первым классом и сразу потребовать выпивки.

Едва оборвалась жуткая тряска разбега, едва чуть живой самолет отделился от полосы, едва сквозь надсадный грохот двигателей и скрип разболтанного планера послышался треск захлопнувшихся створок шасси, я почувствовал невероятную – прямо-таки распирающую меня – свободу.

Я оторвался от земли, потерял связь с нею, проклятой и сосущей из меня соки.

Конечно, не навсегда, через четыре часа мне снова предстояло к ней припасть.

Но в другом времени.

В другом месте.

А главное – в ином качестве.

Все осталось позади.

Позади и внизу.

И удалялось быстрее и быстрее.

Еще дальше назад и еще глубже вниз.

И я верил, что прекрасно проведу время в своем выморочном отпуске.

Четырнадцать дней абсолютного покоя без знакомых лиц и мобильной связи, без всего, что отравляло мне жизнь, казались мне еще одной жизни.

Я не сомневался, что у Средиземное моря меня ждет море выпивки, а женщины уже строятся в очередь на право овладения мною.

О таком отпуске перед казнью мог мечтать каждый.

* * *

Слова «*отпуск*» и «*казнь*» вряд ли могли соседствовать в мыслях нормального человека.

Со стороны такое могло показаться странным, диким и вообще невозможным.

Но со мной все обстояло именно так.

Я был безработным.

На своей нелюбимой и нелюбящей родине я остался за бортом.

Потерял все, что имел: работу управляющего филиалом московской транспортно-логистической компании с дурацким названием «*Ифеко*», неплохой оклад, положение, служеб-

ный кабинет, служебную машину, служебный бензин, служебную связь, нескольких достаточно выразительных подчиненных, и так далее… Всего потерянного не хотелось перечислять.

Я потерял саму жизнь.

Но выброшенный за дверь, летел отдыхать.

На в какое-нибудь богом забытое Сочи, а прочь из России – в цивилизованную страну, где даже в общественных туалетах висела двухслойная клозетная бумага.

Просто так сложилось.

Так легли жизненные планы: работу я потерял одномоментно, неделей раньше ничто не предвещало моего падения.

Мы с женой собирались провести отпуск вместе. В прошлом году в это время я тоже оказался незанятым и находился в состоянии прострации, она ездила отдыхать одна.

Нынче мы все спланировали четко, хотя – сейчас я уже не видел смысла врать – не слишком верили в выполнение планов. И на самом деле к тому не очень стремились, ведь – опять-таки, честно говоря – наши отношения перешли в состояние, когда желание не разлучаться во время отпусков осталось игрой, положенной стопроцентно положительным супругам. А внешне даже для знавших нас близко мы в самом деле казались стопроцентными, игру следовало доиграть до конца.

Результат игры определился без нашего ведома, причем сначала без намеков на мою грядущую катастрофу: жене в ее фирме подписали заявление на отпуск, а мне в моей вернули, сославшись на летний аврал, при котором само упоминание об отпусках является «*неэтичным*». Жена имела полное право на отдых, она работала целый год не меньше моего. Поэтому мы собрали ее, купили путевку и она опять улетела одна – тоже в Турцию, но в Белек. А через несколько дней мне позвонили из головного офиса и довольно радостно сообщили, что отпуск мне все-таки предоставят.

Я, конечно, сходу возмутился и заявил, что мне не нужен отпуск именно сейчас, когда сломаны семейные планы, что я ни при каких условиях не сумею присоединиться к супруге. То есть, конечно, теоретически можно было все переиграть: взять два новых тура в той же конторе, потом ехать на место и забрать жену к себе. Но для нее это означало отказ от уже начавшейся путевки, а в таких случаях турагентство удерживало неустойку в девяносто процентов, наш совместный отдых получился бы золотым.

Но – если говорить честно в третий раз! – я не ощущал огорчения со стороны жены, что отдыхать нам придется врозь.

Поэтому, спустив излишек пара и довольно неучтиво завершив разговор, я заставил себя остыть. Выпил кофе в кабинете, потом спустился на улицу, зашел в сервис-центр «*УзДЭУ*», занимавший цех бывшего завода с другой стороны двора, перекинулся парой дружеских фраз со знакомым узбеком-мотористом, затем поднялся обратно, по дороге в свой кабинет походя заглянул в декольте бухгалтерше, заперся у себя и выпил кофе еще раз. А потом, проведя таким образом полчаса, перезвонил в Москву и сказал кадровичке, что отпуск беру, но уйду не со следующего понедельника, а после возвращения жены. С одной стороны, я хотел встретить ее по-человечески, а с другой – избежать проблем с ее машиной. Мы, как и многие жильцы нашего дома, имели перед подъездом собственный парковочный карман на два места, сделанный на свои деньги и загороженный цепями. Оставшись дома, я мог хранить фиолетовую машину жены под окном, время от времени ее переставляя, чтобы не возникло подозрения о долгом отсутствии хозяина. Уехав немедленно, я был бы вынужден поставить ее на охраняемую стоянку, что означало дополнительные траты и лишние хлопоты по возвращении.

Переделать приказ на удобную для меня дату согласились без уговоров, причем дали не привычные для нашего времени две недели отпуска, а полных двадцать восемь дней.

По совокупности факторов ситуация показалась мне подозрительной, слишком уж волшебным образом в один миг выпали три семерки на колесиках моей судьбы. Я кинулся наво-

дить справки о перспективах своего положения в компании, использовав всевозможные побочные каналы – но ничего конкретного не выяснил.

Разумный человек на моем месте затянул бы пояс потуже, отпускные – «*в счет внепланового аванса*», как подчеркнула бухгалтерша – положил бы на банковский счет, а отпуск провел на своей даче, обмахиваясь ветками от комаров и зажигая костры, чтобы не слышать запахи соседского навоза. Но я-то – к какому выводу оставалось прийти сейчас – разумным никогда не был.

И потому поступил прямо противоположно: согласно принципу неповешенного утопленника, хотя мне, возможно, было написано погибнуть под машиной. Ведь все последние годы – практически с начала недружественного к моей персоне двадцать первого века – я не заглядывал в будущее слишком далеко. Точнее, вообще не заглядывал, поскольку будущего у меня не было.

Я решил махнуть рукой и на две недели остановить себя в настоящем. Спланировал отдых, нашел себе хороший по всем параметрам отель

Но в день, когда я получил у финансового директора подтверждение, когда осталось дождаться завтрашнего утра, снять с зарплатной карточки деньги, поехать в агентство и оплатить заказанную путевку…

…Как раз в тот черный день к нам нагрянул президент компании – точнее, ее владелец. Молодой москвич, которому олигарх-отец дал денег на забаву в виде собственного бизнеса.

Он внимательно осмотрел офисное помещение, которое я только что расширил и отремонтировал, поговорил по очереди со всеми сотрудниками. А потом, когда мы закрылись вдвоем в кабинете, сказал, что за оставшиеся дни плюс месяц отпуска я, вероятно, сумею найти себе другую работу.

Приговор, произнесенный равнодушным тоном при взгляде поверх моей головы сквозь клубы сигаретного дыма, меня шокировал, но не удивил. В этой компании все сотрудники ощущали себя под козырьком лавины. Я ожидал неприятностей; я даже культивировал внутреннюю готовность к худшим из перемен.

И я знал, что этот кривоногий «*мажор*» – по гримасе судьбы мой тезка, только не Евгеньевич, а Александрович – активно меня не любит и придирается к работе нашего филиала как ни к чьей другой. Я раздражал его всем: возрастом, кандидатской степенью, знанием языков и даже тем, что не курил. Я знал, что рано или поздно он меня прихлопнет, и не мог понять, зачем он одобрил мою кандидатуру на собеседовании, для которого мы оба приехали в Самару и даже пять дней подряд выпивали в ресторане по бутылке водки за его счет.

В общем, чисто теоретически я был ко всему готов.

Но все-таки на какой-то момент стул качнулся подо мной, точно самолет неожиданно провалился в воздушную яму, попав в зону турбулентности.

Но я сдержался; ухватился за край стола – длинного приставного, поскольку за моим начальническим сидел президент, разложив свои вещи, барсетку, ноутбук и курево – и ничего не сказал.

Отчеканив слова, зачеркивающие мою карьеру и, он облегченно вздохнул и, не услышав от меня ни звука, продолжил речь. Он говорил много своим привычным голосом, натужно имитирующим хозяйский бас, сквозь который то и дело прорывались гнусавые нотки убогого, как полулитровая кофейная кружка, системного администратора – правда, хорошо подстриженного. Подчеркивал мои заслуги как хозяйственника и организатора, отмечал мою любовь к технике, но из перечисления заслуг не становилось яснее, за что он меня увольняет.

Хотя я знал это сам. И тысячу раз соглашался с Экклезиастом: в многом знании я умножал скорбь, по крайней мере для себя.

В начале января у меня пропала двадцатитонная фура с грузом бутылок стоимостью сто двадцать тысяч рублей, отправленная в Санкт-Петербург на пивзавод «*Балтика*».

На самом авария произошла еще перед новым годом: дальнобойщик спешил под красный свет и в кого-то врезался в Солнечногорске под Москвой, его задержала ДПС, а фуру отогнали на штрафстоянку до окончания разбора, который отложился из-за долгих праздников. Тягач не принадлежал водителю, а был взят им в лизинг, не завершив перевозку и не получив за нее денег, он просрочил платеж, и ко всем прочим бедам автопоезд вместе с грузом оказался под арестом за долги. Девушка-логист, которая вела это направление, молчала до последнего момента. При перманентной неразберихе, без которой не мыслилась сама автотранспортная деятельность, пропажи хватились лишь в апреле, когда поставщики стали сверять приходы при закрытии квартала. Конечно, вина лежала на мне: всю весну я занимался ремонтом и приотпустил личное отслеживание перевозок, к тому же принял в штат начальника отдела логистики, не имевшего иных дел, кроме контроля каждого рейса от погрузки до выгрузки. Более того, узнав о событии почти случайно, я повел себя неправильно. Я должен был разразиться громами и молниями, в один момент уволить непосредственно виновную сотрудницу, раздув скандал до небес и переведя все стрелки на нее. Это оказалось бы единственно правильным вариантом, поскольку в «*Ифеко*» каждый вел свое узкое направление. Но я пожалел нерадивую логистку: она годилась мне в дочери, маялась с семейной жизнью, никак не могла вынудить сожителя жениться. И, кроме того, имела изумительно красивые ноги и носила очень короткие юбки.

И я решил попытаться спустить все на тормозах – точнее, согласовать несогласуемое.

Именно несогласуемое, поскольку прошло время и события сделались необратимыми. Несколько месяцев шли претензионные препирательства с поставщиком – турецким заводом стеклотары, одним из немногих работающих предприятий нашего города – который был разъярен не столько убытком, сколько ситуацией, в которой наша фирма опростоволосилась из-за безголовой девчонки, думавшей лишь о новогодних фейерверках и положившейся на исполнителя, которому не стоило доверять даже перевозку ящика водки в багажнике «*жигулей*». А мое начальство считало, что я должен делать в филиале всё за всех, хоть и получать лишь свою зарплату.

В какой-то момент я был готов оплатить убытки из своей зарплаты и снарядить на «*Балтику*» повторную отправку, но выяснилось, что пивовары непрерывно обновляют продукцию и бутылки такого дизайна уже не используются.

Когда страсти достигли высшей точки, я оказался перед альтернативой. Мне позвонили от поставщика и предложили приехать для урегулирования спора. Начальница отдела сбыта честно сказала, что мне предложат выбрать между актом о признании суммы ущерба и официальным уведомлением о разрыве отношений, означающим потерю ключевого клиента, одного из главных в регионе. Попросив отсрочки, я позвонил президенту, но его телефон оказался отключенным. Генеральный директор «*Ифеки*» – ни за что не отвечающий тридцатипятилетний медузоподобный полудурок с весьма подходящей фамилией Тюльнёв – велел «*действовать по обстоятельствам*», хотя вопросы такого порядка всегда решались на уровне московского генералитета.

Действовав, как диктовали те самые обстоятельства, я подписал акт и договорился о выгодном для нас погашении ущерба путем взаимозачета. Ценой неимоверных усилий и даже унижений с моей стороны клиент был сохранен.

Но я чувствовал, что как бы ни легли следующие карты, в этой фирме мне уже не жить.

Так оно и оказалось.

Через несколько дней мне позвонил президент и, имитируя искреннее удивление, сказал, что к нему зашел генеральный директор, который впервые слышит и о подписанном мною акте и о разорванном на моих глазах убийственном письме. Разговор с непосредственным начальником я не записал, глупо положившись на честность, само слово о которой было неприменимым в отношении с московскими работодателями. Хотя, конечно, даже диктофон – которого у меня не было – вряд ли бы мог помочь, руководство знало, что в любом случае я буду уволен.

Ведь я выполнил свою задачу, за год расширил филиал, набрал штат и отремонтировал целый этаж старого здания, потратив смехотворную сумму. Я слишком поздно понял, что, обещая золотые горы в дальнейшем, нанимали меня на один год для выполнения одной задачи с тем, чтобы заменить следующим рабом за такую же зарплату с такими же обещаниями. Наемные работники для Москвы всегда были рабами, никем иным быть и не могли.

Приезд басовитого программиста на новеньком «*мерседесе*» S-класса это подтвердил.

Я не помню, каким образом доехал из офиса до дома.

Увольнение было катастрофой. Остаться без работы в сорок восемь лет значило уже нигде не устроиться по-нормальному, в этом заключался весь ужас моего положения.

Прежде, случалось, люди медленно шли ко дну, но у них все же оставался какой-то шанс вынырнуть. Теперь за каждым увольнением зияла пропасть вечной безработицы.

Я в один миг стал никем.

Я пил всю ночь, методично наполняя себя водкой. Жена была в Турции, мне никто не мог помешать. Я довел себя до состояния, которое не позволило бы совершить какой-нибудь неразумный поступок. Хотя неразумнее того, до чего я уже довел свою жизнь, быть не могло.

Наутро, с трудом выбравшись из постели, найдя вслепую и выпив в один прием полуторалитровую бутылку минеральной воды, я раскрыл глаза. В отчаянии подошел к окну, посмотрел на стоящую перед подъездом служебную машину, с которой вот-вот предстояло расстаться, и подумал, что все бесполезно.

Я мог рвать на себе одежды и посыпать голову пеплом, но это ничего, абсолютно ничего не могло изменить.

Я не мог лично расправиться с богатеньким выкормышем Евгением Александровичем Баваевым. Прорежь я все четыре колеса его лимузина, стоящего по моей договоренности на внутренней парковке арендодателя – он бы достал из барсетки пачку денег и через полчаса сюда не только привезли бы новый комплект, но и заменили все на месте. Наш убогий город славился некриминальностью, здесь было негде купить радиомины, чтобы взорвать его вместе с черной машиной.

Я бы с наслаждением навредил самой фирме, парализовал на время ее деятельность: уничтожил клиентские базы, стере отчеты, испортил 1С. Но мне бы не удалось разбить хорошим пинком чудовищно дорогой сервер, за которым когда-то я лично ездил в Казань. И физическая сеть и пароли были в руках сисадмина – белесого киселеподобного юноши, нанятого мною и до работы в «*Ифеко*» разводившего персидских кошек.

Я оказался не в состоянии сделать что-то лично для себя. Имея формальную власть над филиалом, фактически я был таким же бессильным, как и прочие работники: отвечая за все, не имел доступа к средствам, которыми ведала бухгалтерша. И, уходя в никуда, я даже не имел возможности опустошить банковский счет, поскольку наше подразделение такового не имело.

Единственно, что я смог сделать – это залить по служебной карте полный бак бензина жене.

Хотя, конечно, хозяин был прав, поступив со мной по-скотски: любой бизнес основывался на деньгах, у кого-то украденных, и продолжался за счет скотства по отношению ко всем.

Начисленные отпускные не решали проблем, на них я не прожил бы и пары месяцев. Единственно разумным в данной ситуации мне показалось не менять планов – уехать в Турцию, на две недели оторваться от действительности перед тем, как погрузиться в смертную пучину отчаяния. Отдохнуть хотя бы потому, что поиск новой точки приложения моих никому не нужных способностей в скором времени требовал новых сил, а их у меня уже не осталось.

Я махнул на все рукой, снял деньги, поехал в агентство и выкупил путевку.

Разделавшись со мной, миллионер сел в свой «*мерседес*» и поехал наводить порядки в Омском филиале, а я остался тут – еще при должности, но уже без капли желания работать последнюю неделю.

Я ощущал себя в бреющем полете: с уже почти закончившимся топливом, но еще не потеряв высоты. Кажется, я плохо соображал, что делаю и как собираюсь прожить оставшееся время, но все-таки как-то жил.

Вечером я позвонил домработнице. Таковая у нас имелась: жена всю жизнь мучилась болями в пояснице, а мои работы вечными разъездами не давали возможность мыть полы самому. Эта девушка лет двадцати восьми, студентка-заочница из деревни нуждалась в приработке, убиралась хорошо и приходила раз в неделю по субботам, я позвал ее вне графика. Причина была реальной: жена возвращалась через четыре дня и я хотел встретить ее чистой квартирой. Мы договорились на следующее утро, я доложен был впустить гостью и уехать на работу, оставив ее убираться. Ключей она не имела, но уходя, умела защелкивать за собой ригельный замок.

Намерений, кроме внеплановой уборки, я не имел. Домработница умом не блистала, красотой не отличалась и имела слишком маленькую грудь; в ней я видел только приходящую прислугу, не более того. Но в тот день что-то сместилось в моем восприятии. Девушка явилась точно в назначенное время, я впустил ее, будучи уже одетым для работы, в костюме и при галстуке, и собирался выскользнуть мимо нее на площадку.

Но в последний момент, совершенно неожиданно и в общем не к месту и не к ситуации, владевшей моими мыслями, обратил внимание на ее ноги.

Как ни странно, алкоголизм, не убил во мне мужчину.

Сегодня я сказал бы, что они всего лишь на полметра были короче тех, на которых ходила Лаура. Но тогда я Лауры еще не знал, длины ее ног не представлял, а всего лишь отметил, что нижняя часть домработницы очень хороша, и бедра ее, практически голые под очень короткими шортами, сияют очень заманчиво. К тому же стоял июль, в маршрутке было жарко, и от аромата ее подмышек впору было умереть.

Выскальзывать я не стал; напротив, запер дверь и предложил ей выпить кофе.

Домработница удивилась донельзя, но предложение приняла. И пока она, не имея аристократических вкусов, сидела у круглого стола на нашей уютной кухне и ждала, когда ароматно дымящийся напиток остынет до температуры столовского чая, я удалился в гостиную и вышел на балкон. Оттуда позвонил в офис и довольно жестко сказался внезапно больным – к чести президента, он не обнародовал сразу мое увольнение, и перед сотрудниками я еще имел статус начальника. А возвращаясь на кухню, прихватил из стенного шкафа матовую бутылку «*Арпи*». Девушка не возражала и уже не удивилась.

Происходившее потом растаяло в тумане.

Я помню лишь, как булькал темно-янтарный коньяк, наполняя пузатые рюмки советского хрусталя, и как остро пахла красная икра, открывая банку которой я в спешке чуть не поранил палец. А потом я вдруг очнулся, всплывая откуда-то вверх, и понял, что лежу на кровати и смотрю в потолок, а с потолка на меня смотрит люстра, на которой висит белый лифчик с прозрачными силиконовыми бретельками. Опустив взгляд, я обнаружил, что поперек моего голого живота лежит голая нога двухметровой длины, к моему голому боку прижата голая же грудь, маленькая… но хорошая.

И, кажется, умирать не стоило; стоило еще пожить, хотя бы немного.

Следующие три дня я не выбирался из постели. То есть, конечно, время от времени выкарабкивался: шел достать следующий коньяк и открыть следующую банку икры – но потом возвращался, падал обратно и опять клал на себя ту же ногу. А владелица ног почти не просыпалась, жевала бутерброды, не открывая глаз и запивала коньяком из моей руки. Девушка – ставшая недевушкой как минимум пятнадцать лет назад – жила на съемной квартире с многоюродной сестрой и ее вечно болеющим ребенком без отца, ей недоставало условий для нормального сна.

Цели затеянного за эти дни и ночи мы достигли лишь дважды.

Первый раз был продиктован первым выпитым коньяком, а второй совершили для порядка перед тем, как подняться, чтобы заняться каждый своим делом: я ставить в стирку простыни, она – собирать свои волосы, раскиданные по всей квартире трусики-маечки, и наконец мыть полы. Все остальное время я просто пил, а она просто спала. Но тем не менее этот, неожиданный для меня самого, кунштюк вселил иллюзию продолжающейся жизни.

И жену, за которой я приехал в аэропорт на вымытой за счет фирмы машине, с громадным букетом любимых ею роз цвета киновари на заднем сиденье, я встретил как полностью успешный, уверенный в себе и любящий муж.

Последнее могло показаться странным, но я считал, что к свершившемуся между мной и тридцатилетней недевушкой любовь не имеет никакого отношения. И более того, всю жизнь понимал, что после любого «*прыжка на сторону*» мои чувства к жене становятся лишь крепче.

Она – в меру загорелая и безмерно счастливая – была рада увидеть меня здоровым и в общем веселым.

О том, что я был трезвым, говорить не стоило; за рулем я никогда не пил хотя бы из-за неудобства, там проваливался стакан.

Подхватив жену на руки при выходе из зоны прибытия, я понес ее в дышащую розами машину, не сразу вспомнив про чемодан.

О своем предопределенном увольнении я ничего не сказал.

А жена в общем не слишком интересовалась моими делами; годы моих бесконечных и бесплодных метаний выработали в ней эмоциональный иммунитет.

Да и вообще, отношения с женой у меня были сложными. И, должно быть, редкими для людей нашего возраста.

Мы сошлись с нею четырнадцать лет назад на базе страстной любви, счастливо совмещенной с кошачьей страстью. Последнее казалось мало реальным, но в 1993 году я еще почти не пил и был много на что способен.

Страсть, конечно, прошла бы и без моего пьянства: горящие тела всегда рано или поздно превращаются в головешки – а любовь осталась.

Если признаться честно, я и сейчас любил жену не меньше, а может быть, даже сильнее, чем в первые годы наших совместных исканий.

Ведь когда отхлынул прилив чувственности, обнажились скалы чувств.

Это, конечно, могло показаться смешным.

Любовь в жизни нормального человека хрестоматийно занимала лишь некоторый ограниченный временной интервал, захватывающий юность и молодость, а потом ее значение должно было сходить на нет, замещаясь более существенными сущностями. На самом деле все определялось порогом восприятия, который у всех был разным. И самыми счастливыми были люди, чьи души были покрыты носорожьей кожей: такие не испытывали никаких чувств вообще и всю жизнь жили счастливо.

У меня же душа, верно, была полностью обнажена, я жил любовью и мне предстояло умереть в любви.

Я любил свою жену беспамятно, безумно, остервенело.

Не кладя на руку на сердце, я мог сказать, что в случае надобности пошел бы за нее воевать.

Я не любил свою родину, я презирал свой народ в целом, за страну под трехцветным флагом отказался бы воевать даже под угрозой расстрела – а вот за жену пошел бы даже не сегодня, а вчера. Ради нее подставил бы свою грудь под крупнокалиберный пулемет Владимирова, о котором в наставлениях говорится, что попадание одной пули отрывает конечность, а любое ранение смертельно.

Но от меня никто не требовал защищать жену от КПВ.

Я должен был лишь обеспечить ей безбедное существование.

А этого не получалось.

Я оберегал жену от худших мелочей быта, так у нас сложилось с самого начала. Я тащил на себе дом, заботился обо всем от ремонта посудомоечной машины до поддержания запаса туалетной бумаги. Я часто готовил еду и занимался стиркой. Конечно, стирала машина, но ее требовалось загрузить, запустить, потом разгрузить, иногда тоже ремонтировать. Домработница приходила раз в неделю, а обувь приходилось держать в порядке каждый день. Я изо всех сил старался заработать; в прежние времена, когда был моложе и соответственно востребованнее, работал одновременно в четырех, иногда в пяти местах. Но денег все равно не хватало; нам обоим хотелось больше, больше и больше.

Это, вероятно, было нормальным явлением; я никогда не мог понять людей, ограничивающих свои потребности.

Уволившись из авиационного института, когда доцентская должность стала приносить больше насмешек, чем доходов, я тыкался во все возможные точки приложения своих сил, которые у меня все-таки имелись.

Жена время от времени говорила, что нужно перестать работать на кого-то – обогащать того же недобитка Баваева – и открыть собственный бизнес.

Она укоряла меня в неспособности заиметь серьезные деньги; в последнее время все чаще осыпала всеми возможными упреками, на какие способна женщина, решившая что мужчина сломал ей жизнь.

А я всю жизнь бился рыбой об лед.

Понимая, что каждый удар лишь отбирает у меня силы, не отзываясь ничем положительным, но все-таки надеясь рано или поздно пробить преграду и уйти на спасительную глубину.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.